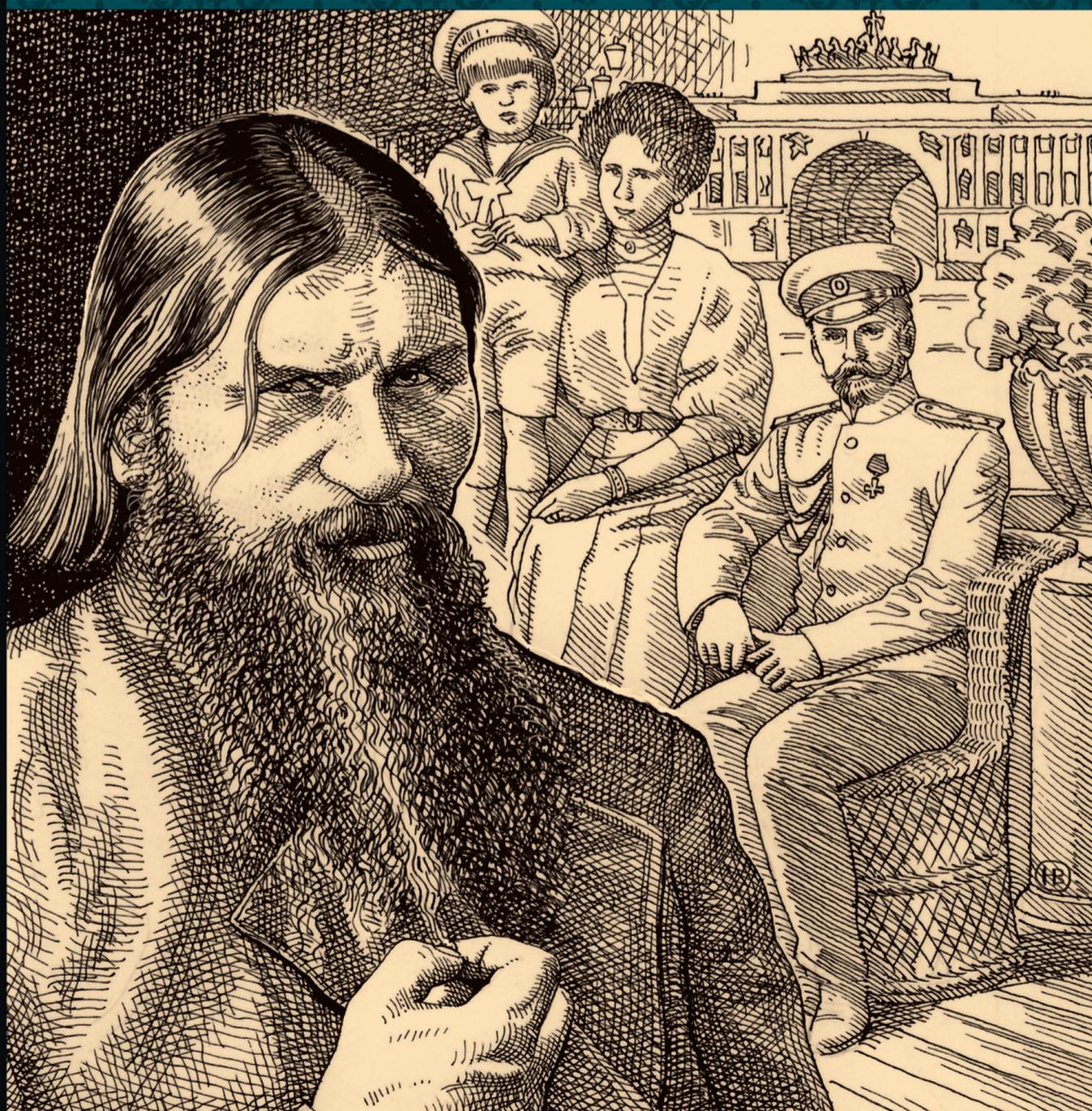


всесторонняя история в романах

Валерий ПОВОЛЯЕВ

ЦАРСКИЙ УГОДНИК



Всемирная история в романах

Валерий Поволяев

Царский угодник

«ВЕЧЕ»

1991–1996

Поволяев В. Д.

Царский угодник / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ», 1991–1996 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-7868-0

Эта книга известного писателя-историка Валерия Поволяева посвящена одной из знаковых фигур, появившихся на закате Российской империи, — Григорию Распутину. Роман-хроника, роман-исследование показывает знаменитого «старца» в период наивысшего могущества, но уже в одном шаге от смерти. Своеобразным рефреном в повествовании стало название другого произведения о Распутине – романа «Нечистая сила», написанного классиком российской исторической прозы Валентином Пикулем: в жизни Распутина, имевшего огромное влияние на царскую семью, есть целый ряд документально подтверждённых эпизодов, которые сложно назвать простым совпадением. Они больше похожи на колдовство или даже чудо, но разве может нечистая сила творить истинные чудеса? На это способно лишь светлое начало...

ISBN 978-5-4484-7868-0

© Поволяев В. Д., 1991–1996

© ВЕЧЕ, 1991–1996

Содержание

Об авторе	6
Пролог	8
Часть первая	19
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Валерий Дмитриевич Поголяев

Царский угольник

© Поголяев В.Д., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Об авторе

Российский писатель, прозаик Валерий Дмитриевич Поголяев родился 13 сентября 1940 года в г. Свободный Хабаровского края в семье военного. Его отец погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Воспитывался будущий писатель в доме бабушки, Л.Ф. Поголяевой, в селе Семенёк Становлянского района Липецкой области. После окончания средней школы села Ламское работал электриком на заводе в Тульской области. В 1965 году он окончил художественный факультет Московского текстильного института, в 1974 году заочно – сценарный факультет ВГИКа.

Печататься В.Д. Поголяев начал с 1969 года. В отделе литературной жизни «Литературной газеты», которым он со временем стал заведовать, начинался его творческий путь журналиста и писателя. Публиковались на 16-й полосе и рисунки Валерия Дмитриевича – художника по образованию, участника ряда выставок. Затем он работал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», секретарем правления Союза писателей и председателем Литфонда России, главным редактором журналов «Земля и небо» и «Русский путешественник», заместителем главного редактора газеты «Семья». Ныне – председатель Московского пресс-клуба (ЦДРИ), председатель Федерации спортивной литературы России.

Первая книга В.Д. Поголяева – сборник рассказов «Семеро отцов» – вышла в 1979 году. Он – автор более девяноста книг. Это и лирические рассказы, и повести, и исторические романы, и детективы, и путевые очерки. В.Д. Поголяев стремится примирить в нашей истории белых и красных, ибо и тем и другим была дорога Россия. Это находит свое отражение в таких его произведениях, как «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угольник», «Верховный правитель» (об адмирале Колчаке), «Атаман Семенов», «Охота на охотников», «Если суждено погибнуть» (о генерале Каппеле), «Браслеты для крокодила» (о Гумилеве), «Жизнь и смерть генерала Корнилова», «Чрезвычайные обстоятельства», «Тихая застава», «Северный крест» (о генерале Миллере), «Бурсак в седле» (об атамане Калмыкове), «Русская рулетка», «Оренбургский владыка» (об атамане Дутове), роман в трех книгах о Рихарде Зорге. Ряд его книг переведен на английский, немецкий, французский, арабский, датский, казахский, украинский, азербайджанский и другие языки.

По мотивам его повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм (более 30 наград). Прототипов героев этой повести Валерий Дмитриевич встретил в Афганистане, где был четыре раза. В числе тех, с кем общался писатель, оказались и липчане. Вообще, в своем творчестве он немало внимания уделяет описанию родных мест. Так, в рассказе «Среди ночных полей» действие происходит в селах Семенёк и Ламское Становлянского района Липецкой области.

В.Д. Поголяев с 1974 года – член Союза писателей СССР. В 1980 году он удостоен звания заслуженного работника культуры СССР, а в 2001 году – заслуженного деятеля искусств России. Ему присуждено около 30 различных творческих премий, в том числе премия Ленинского комсомола, а также литературные премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого. Он действительный член Русского географического общества, Международной академии информации, Академии российской словесности. В.Д. Поголяев удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знака Почета», Красной Звезды, трех афганских наград.

В. Кичин

Избранная библиография В.Д. Поголяева:

«Если суждено погибнуть» (2004)

- «Царский угодник» (2005)
- «Жизнь и смерть генерала Корнилова» (2007)
- «Чрезвычайные обстоятельства» (2007)
- «Тихая застава» (2008)
- «Северный крест» (2009)
- «В ста километрах от Кабула» (2009)
- «Бурсак в седле» (2010)
- «Русская рулетка» (2010)
- «Оренбургский владыка» (2011)
- «С войной не шутят» (2013)
- «Верховный правитель» (2014)
- «Лесные солдаты» (2014)

Пролог

Лето в петербургских пригородах выдалось в тот год жаркое, затяжное, на крестьянских огородах и делянках мешан-дачников начисто выгорели огурцы и появились неведомые дотоле, черные, со сморщенными опасными телами, покрытыми мерзким редким волосом, тарантулы.

Тарантулы пугали на огородах баб, проворно перемещались, задирая зады, по земле, норовили ущипнуть иного мужика за ногу и вообще оказались большими любителями овощей. Те, кто все-таки смогли отстоять у жары свои огурцы с помидорами, были бессильны перед новой напастью: тарантулы поглощали овощи с поспешностью голодной саранчи, выгрызали у огурцов мякоть, оставляли только шкурку да семечки, помидоры же, которые дачники выращивали для соусов – жидкие, почти без мякоти, – просто выпивали, прозрачную, тонкую шкурку выплевывали – от помидоров после хищных волосатых насекомых почти не оставалось следа.

Несмотря на огородную сушь, жару, воздух сыро и тяжело давил на людей, вызывал кашель; это на юге, где-нибудь в Крыму либо в Туркестане, жара переносится легко, в Петербурге совсем по-другому. Такое ощущение, будто воздух кипит, бурлит, фыркает, как кипятки в кастрюле, ошпаривает кожу, перетягивает чем-то тугим горло, не дает продышаться.

Хуже всего чувствовали себя в эту пору сердечники.

В один из таких жарких дней в петербургских пригородах появился человек. Он был одет в старые, кое-где уже подранные и неумело зачиненные штаны, в выгоревшую ситцевую рубаху с косым воротником, через плечо у него была перекинута жидкая котомка, в противовес котомке, больно бьющей путника по костлявой спине, спереди гнездились связанные за ушки поношенные, со стоптанными каблуками и несколькими заплатами на союзках сапоги.

Шел этот человек босиком. Чтобы не сбивать ноги, он старался ступать по шпалам.

Путник зорко оглядывал обочины, поворачивал голову назад, опасаясь, что его может настигнуть поезд, часто останавливался, чтобы отдохнуть и послушать пение птиц, иногда ставил босую ногу на рельс, замирал на несколько мгновений – слушал дорогу, пытаясь понять, идет по ней поезд или не идет, и если чувствовал, что поезд идет, сходил на обочину, на рыжую, пахнущую мазутом тропку, пропускал состав и вновь забирался на железнодорожный путь.

В одном месте на его пути встал железнодорожный будочник – здоровенный, рыжий, в сапогах, за голенища которых были заткнуты два сигнальных флажка – желтый и красный, с серебряной боцманской дудкой за поясом, с противной ухмылкой на лоснящихся, будто он вдоволь поел сала, губах.

– Ты знаешь, что по железнодорожным путям ходить запрещено? – строго спросил будочник у босоногого путника.

– Нет, – без особой робости ответил тот.

– Напрасно. Чтоб впредь знал это, возму-ка я да и определю тебя лет на десять на Сахалин <см. *Комментарии, Стр. 8...на Сахалин...*>, тележки с рудой таскать да каторжные песни исполнять по воле начальства.

– За что?

– Было бы за что – вообще пристрелил бы, прямо тут же, на рельсах, не отходя от кассы, а так Сахалин – и вся недолга! Десять лет отбарабанишь – по путям ходить никогда больше не будешь. Понял? Ты кто?

– Божий человек.

– Это я вижу – Божий. Дурак, значит, раз сам за себя не отвечаешь. Блаженный... Не хочешь отвечать или не можешь?

Путник молчал. Не драться же ему с будочником. Во-первых, тот здоровее, а во-вторых – при исполнении. Раз при исполнении – значит, власть. Против власти же идти – все равно что

мочиться против ветра: штаны от ширинки до обшлагов будут мокрыми. Путник приподнял одно плечо, сморщил свое темное, до костей продубленное солнцем лицо.

– Все понятно, – сказал будочник, – дурак, он и есть дурак.

Не обременяя себя дальнейшими разговорами, он, с интересом поглядывая на путника, обогнул его сбоку и неожиданно с размаху обидно и больно опечатал сзади сапогом.

Путник охнул, загромыхал под откос, поднимая пыль всей своей костлявой фигурой, теряя сапоги вместе с тощим сидором <см. *Комментарии*, Стр. 9..вместе с тощим сидором>.

– И моли Бога, что я тебя на Сахалин не отправил! – громыхнул тяжелым, медным басом будочник.

Путник поднялся, стер со сбитой скулы кровь, сплюнул себе под босые ноги и произнес без особой обиды в голосе:

– Эх ты... Не знаешь еще, что жить тебе осталось две недели.

– Пошел вон! – еще раз громыхнул басом будочник. – Тоже мне, пророк нашелся!

Через две недели будочника, неосторожно сунувшегося в утреннем тумане на железнодорожные пути, чтобы понять, идет поезд или нет, сшиб и проволоч целых две версты по полотну курьерский поезд, идущий из Москвы. Изуродовал он будочника страшно – у того оказались отрезанными обе руки и нога, тело было превращено в фарш, череп раскроен до мозга, лицо не узнаешь – оно было стесано до костей...

А путник двинулся дальше. Иногда он смешно подпрыгивал на раскаленных шпалах, дул вниз, себе на ноги, шипел, словно Змей Горыныч, ловил глазами солнце, помыкивал себе под нос песенку и, судя по всему, был доволен жизнью: дорога ему нравилась...

В другом месте с ним вообще чуть беда не стряслась. Дорога из кудрявого веселого леска выкатывала прямо на деревню – расхлябанную, состоящую сплошь из серых перекошенных домов с просевшими соломенными крышами, главным украшением которой была новенькая кирпичная водокачка с длинным ребристым шлангом, похожим на хобот слона, – здесь заправлялись водой паровозы. Путник, не останавливаясь, решил одолеть деревню махом, на одном дыхании, но не успел – не получилось...

Из крайнего, с разбитыми окошками дома, ловко перепрыгнув через плетень, к нему метнулся чернявый, словно грач, парень с длинным носом, скомандовал негромко:

– Стой, дядя!

Путник сделал вид, что не слышит оклика, продолжал скорым шагом двигаться дальше. Тогда парень скомандовал громче, со свинцом в голосе:

– Стой, кому говорят!

Делать было нечего, путник остановился. Развернулся лицом к парню. Тот подбежал. Губы трясутся, глаза белые, в уголках рта – слюна. Протянул руку к путнику:

– Давай сюда свою котомку!

– А я как же без нее? – Путник отступил от парня на шаг. – Мне без нее нельзя!

– Обойдешься! И сапоги давай! – Парень стрельнул глазами по сапогам, висящим у путника на плече. Увидев заплату, недовольно поморщился: – Ладно, сапоги можешь оставить себе...

Путник отступил от парня еще на шаг.

– Нет!

– А это ты видел? – Парень приподнял рубаху. Штаны у него были подвязаны обычной пеньковой веревкой, из-за пояса торчала деревянная, с крупными медными клепками рукоять ножа. – Зашекочу ведь!

Путник начал медленно снимать с себя котомку, перехваченную с сапогами одной бечевкой – в противовес: с одной стороны сидор, с другой – сапоги, глянул испытующе на парня. Парень протянул к сидору руку:

– Ну!

Тут путник неожиданно изогнулся и что было силы лягнул парня ногой в живот, потом отскочил назад, примерился, совершил проворный прыжок и снова лягнул налетчика. Второй пинок был болезненным – путник ударил метко, угодил парню прямо под грудную клетку, в самый разъем, туда, где расположено солнечное сплетение. Парень охнул, схватился руками за живот и, сплевывая на землю что-то тягучее, окрашенное розовиной, согнулся.

Путник подскочил к нему, ударил кулаком, словно молотом, сверху по хлипкому, в редких немых косицах волос затылку. Парень охнул еще раз, ткнулся головой в колени, покачнулся, но на ногах устоял.

– Вот тебе, вот! – злорадно вскричал путник, снова ударил налетчика кулаком по затылку, он был сильнее, жилистее, выносливее белоглазого парня. – Вот... вот!

Оглянулся – не бежит ли кто с колом в руках на подмогу к неудачливому налетчику? Деревенская улица была пуста, безжизненна, лишь куры копошились в пыли около плетней – больше никого. Путник еще два раза ударил парня, но тот так и не свалился на землю, все стоял и стоял на ногах, чем вызвал невольное восхищение путника, знавшего толк в деревенской драке.

– Ну и крепок же, зар-раза! – воскликнул путник, подхватил котомку с сапогами одной рукой и рысью понесся по деревенской улице, провожаемый ленивым тьяканьем почти спекшихся в летнем зное дворняг да кудахтаньем потревоженных кур.

Перешел на шаг он минут через десять, когда деревня осталась далеко позади.

Через час он решил сделать привал. Остановился и долго сидел в тени куста, слушая песню соловья. Тот пел изобретательно, громко, без перерыва, так сладко пел, что душа у путника была готова выскочить наружу.

Он восхищенно покачал головой и, не сдержавшись, прошептал:

– Мерзавец! Вот мерзавец, а!

Соловей облюбовал себе место в душевной зеленой низинке, в густом сочном кусте, вокруг которого, несмотря на жару, поблескивала вода; от воды той тянуло травяной прелью, клюквенной кислятиной, чем-то застойным, острым, и человек восхитился еще раз – сметлива была птица: кругом вода, к гнезду никак не подобраться, ни кошка, ни белка сырину не одолеют, увязнут в топи, да и не только они, всякий зверек увязнет и повернет обратно, если только его не засосет болотная прорва; до гнезда, правда, может дотянуться жадная хищная птица, какая-нибудь дура ворона с широко раззявленной пастью, но и ей вряд ли удастся пожить... Соловей прилепил свое гнездо к гибкой длинной ветке, на которой никакая ворона не удержится, – жирное тело непременно соскользнет вниз, а ветха выпрямится, да и сквозь густоту листьев вороне будет очень трудно пробраться...

– Во молодец птаха! – восхитился путник. – Не гляди, что мозгов мало и голова всего с наперсток – вон все как дельно продумала!

Он решил задержаться в полюбившемся ему месте, в ржавой лужице ополоснул ноги, потом руки и лицо – человек этот особой брезгливостью не отличался, – достал из котомки, которой чуть было не лишился, два черных жестких сухаря, бутылку из-под «Смирновской» водки, заткнутую кукурузной кочерыжкой, – в бутылку была налита колодезная вода, пить из луж путник опасался, боясь подцепить какую-нибудь гадость, – и приступил к трапезе.

Зубы у него были слабые, а сухари – прочные, как железо, только зубилом их и брать, поэтому путник здорово с ними мучился, но есть-то надо было, поэтому он поступал с сухарями изобретательно: отпивал из бутылки немного воды, задерживал ее во рту, потом совал в рот сухарь, ждал, когда тот немного размокнет, и лишь потом отгрызал от него кусочек, перетирал зубами и гулко проглатывал.

Лицо у путника при этом было напряженным, словно он выполнял тяжелую работу, по щекам тек пот.

А соловей не унимался, продолжал петь, яриться, вызывал слезы умиления. Путник потрясенно вытягивал голову, замирал, тихо пришептывал, словно пытался подсобить птице или угадать следующее песенное коленце, оставляющее в душе чувство восторга, сладкое щемление, что-то очень радостное, затем немо мычал, словно ребенок, – он был готов слушать соловья до самого вечера.

Но соловей умолк через полчаса, и путник разом преобразился, построжел лицом, принял озабоченный вид, быстро задернул бечевку на горловине котомки, связал сидор с сапогами и двинулся дальше.

В следующей деревне, подступившей к самой дороге, оглохшей от грохота поездов и одуревшей от мусора, который пассажиры выбрасывали из вагонов, он остановился у колодца, старой черной бадейкой зачерпнул воды, вытянул наверх, пополнил свою бутылку, глянул на солнышко: высоко ли стоит?

Солнце стояло высоко – чистое, южное, беспощадное; на небе не было ни одного облачка, летали, правда, какие-то перья, но их и за облака-то нельзя было принимать – так, пух, невесомый дым, а не облака. Путник вздохнул: жарко идти в такое пекло, трудно, но идти надо.

Он вылил немного воды из бадейки себе на руку, с шумом сгреб воду с ладони губами: пить из бадейки в деревне – это большой грех, прикладываться своим ртом к общественной посуде нельзя – могут сбежаться мужики и отделать кольями так, что вместо Петербурга придется отправляться совсем в иную сторону; вторую ладонь воды вылил себе на волосы, смочил голову.

Из-под волос, пробравшись сквозь мокрые пряди, вылезла кожистая желтая шишка – то ли родовой нарост, то ли была оставлена чьим-то кулаком либо шкворнем, путник это почувствовал и какими-то суетливыми, испуганными движениями вновь замаскировал шишку под длинными липкими прядями.

Около колодца тем временем, побрякивая пустыми ведрами, висящими на коромысле, появилась молодка в сарафане с широкими ляжками, в тапках-котах на босу ногу, ладная, свежая. Путник не выдержал, нахмурился:

– С пустыми ведрами? Охо-хо... Пути мне не будет!

– Что вы, дядечка! – звонко вскричала молодайка. – Разве можно с пустыми ведрами? Я не с пустыми... У меня в каждом ведре, – она качнула вначале одним крылом коромысла, опустив ведро, болтавшееся слева, потом другим крылом, показывая второе ведро, – по чуть-чуть воды налито, чтобы ведра не были пустыми... Специально!

– Специально, как же, как же... – захмыкал путник, стрельнул глазами в одну сторону, в другую и неожиданно, изловчившись, ущипнул молодайку за неприличное место.

Та даже задохнулась от невольного гнева, попунцовела, проворно сбросила ведра с коромысла и что было силы огрела путника коромыслом по спине.

– Ах ты, мерин проклятый!

У путника от удара даже захрустели кости, но он, вместо того чтобы заорать, вдруг лучисто улыбнулся, около светлых пронзительных глаз его образовались частые лапки морщин, и молодайка сникла, руки у нее опустились сами по себе – взгляд путника был гипнотическим, как у ужа, который нацелился полакомиться лягушкой.

– Пошли со мной, – пригласил путник молодайку, перевел взгляд на недалекий лес, розовый от небывалой жары, – я тебя причащать буду.

Молодайка покорно положила коромысло на землю и двинулась вслед за путником. Позже, когда у нее спрашивали, зачем же она это сделала – пошла с незнакомым человеком в лесные кущи, могло ведь случиться самое плохое, да оно, плохое, и так случилось: мужик тот испортил бабу, «снасильничал», теперь родится какой-нибудь упырь (бородатый, с шишкой на лбу и грязными ногами, как тот скороход, удалившийся в сторону Санкт-Петербурга) – молодайка округляла глаза и приподнимала плечи:

– Не знаю... Не в себе была. Все свершилось, как во сне. Но бабам, своим же, деревенским, она потом рассказывала восхищенно:

– Он со мной выделял такое... такое... – У молодайки перехватывало дух, и она не могла отыскать нужное слово, чтобы дать точное определение, что же с ней выделял чернородый путник.

– Что же это было... такое? – любопытствовали бабы.

– Не знаю. Единственное – что он меня только к березе не привязывал, а так... Это сказка. – Молодайка снова округляла глаза, на губах у нее появлялась довольная улыбка, и она повторяла, словно бы не веря тому, что испытала: – Настоящая сказка!

– А если он тебя заразил чем-нибудь?

– Не-а!

– Почему так считаешь?

– Он беса из меня изгонял, заразить не мог. Сказал, что во мне поселился бес, который крутит, ломает мое тело по-всякому, и этого беса надо изгнать...

– Изгнал?

– Изгнал. – Молодайка сладко, так, что у нее захрустели кости, потянулась. – Ох, изгнал... Я так каждый день готова изгонять беса, очень интересное это занятие.

– Смотри, надует тебя после этого обряда... Крикунчик родится.

На лице молодайки возникла легкая суматоха.

– Не должен. Этот мужик мне обещал: ничего не будет, только обряд.

– Вот после таких обрядов все и бывает, дура! Бабы оказались правы; через девять месяцев в семье молодайки появился лишний рот – родился мальчик, чернявый, коротконогий, с длинным червячьим телом, похожий на насекомое.

– Кого же он нам напоминает, а? – задумались бабы, придирчиво разглядывая младенца.

– Кого, кого... – Молодайка сердито надула губы. – Царя Гвидона!

– Не-а!

– А кого же?

– Во! Сороконожку! Точно! Напоминает сороконожку!

Но это будет потом, позже, а пока путник, зорко поглядывая по сторонам, приближался к Санкт-Петербургу, довольно шурился, считал шаги и, ощущая внутри иногда возникавший холодок, что-то опасное, неприятное, думал о том, что ждет его завтра, послезавтра, послепослезавтра, – вдруг его вытолкают в шею из блестящей Северной столицы либо еще хуже – пустят плавать ногами вперед по широкой реке Неве, – передергивал на ходу плечами и шумно вздыхал: «У-уф!»

Звали этого человека Григорием, фамилия его была Распутин, но это – новая фамилия, даденная совсем недавно и самому Гришке, и его отцу Ефиму за распутство, учиненное в сибирском селе Покровском, – Гришке за то, что перетаскал всех местных девок в лес, отцу – за способность пропивать в доме все: он даже стекла в окнах пропивал, вот ведь как, а когда подошла пора очередной переписи российского населения и выдачи новых паспортов, исправник наотрез отказал Распутиным в старой фамилия – их фамилия была Вилкины – и сказал, брезгливо топорща жесткие, как свиная щетина, усы:

– Какие вы Вилкины? Распутины вы, Рас-пу-ти-ны... Фамилия должна соответствовать сути. Понятно? А если будете возражать, – исправник, заметив, как напряглось Гришкино лицо, повысил голос и сделал шаг вперед, намереваясь взять Гришку за грудки, – в холодную посажу! На лед задом! Как рыбу!

Гришка поспешно отступил от исправника – от греха подальше, возражать они с отцом не посмели и из Вилкиных превратились в Распутиных.

Отношение к Распутиным в селе Покровском было пренебрежительное: отец пьет, пьет не просыхая, потом вдруг останавливается и начинает с похмелья долго и нудно размышлять

о мироздании, о превратностях судьбы, о том, почему одни коровы бывают рогатые – с такими ухватами на голове, что к ним страшно подступиться, – а другие безрогие, комолые, и кто-то ведь этим занимается, одним коровам устраивает рога, а другим ничего; о том, отчего ползает червяк, не имеющий, как известно, ног, и почему лошадиные котяхи не тонут в воде, – сдвинутый отец какой-то, и сынок тоже сдвинутый...

Оба сдвинутые. Если отец, когда трезвый, хоть что-то старается сделать по хозяйству, то сынок иногда по трое суток не слезает с печи, лежит там, задумчиво шевелит пальцами ног, даже помочиться оттуда не спускается, еду на печь себе требует, утром, днем и вечером жрет жирную селедку с молоком. Когда ест – урчит по-кошачьи от удовольствия. Очень Распутин-младший полюбил селедку с молоком, называл ее лучшим на свете фруктом, лучшим овощем, продуктом гораздо полезнее сала.

Случалось, Гришку с отцом били, наставляли уму-разуму, но это не помогало – бить их было бесполезно: ни плети, ни розги, ни колы, вывернутые из изгородей, ни вожжи не могли исправить эту семейку.

В жены Гришка взял бабу полную, белошекую, с медлительной речью, тобольскую мещанку Прасковью Федоровну Серихину, по-деревенски если – Парашку, и очень скоро сгордил троих детей, двух дочек и одного сына. О Прасковье Распутиной мало что известно, пожалуй, отмечен только ее флегматичный характер да еще то, что она раньше в губернском «отеле» работала в номерах и скучающим постояльцам порою не отказывала в удовольствии, – вот, собственно, и все.

Гришка о славном прошлом собственной супружницы знал и, случалось, сек ее нещадно. Однажды он исчез из села и долго пропадал – не было его года полтора, а то и больше. Исправник против его фамилии уже поставил прочерк – все, дескать, отбыл раб Божий на вечное место жительства в другие края, и в Покровском Гришку начали потихоньку забывать, но оказалось – рано!

А Гришка все это время находился в путешествии, перемещался от одного монастыря к другому, жил в кельях вместе с монахами, пробовал молиться, но с суровой монастырской братией тягаться не сумел – их аскетизм и подвижничество были Распутину не по нутру, и он поднимался с места и двигался дальше.

Так он добрался до Святой земли, до Иерусалима.

Вынес он оттуда чувство восторга, некой громкой, очень торжественной внутренней песни и... причастность ко всему, что на Святой земле имелось.

Как-то в Киеве, в одном из подворий, на него обратили внимание две особы, принадлежащие к императорской семье: <см. *Комментарии Стр. 16...две особы, принадлежащие к императорской семье...*>

Анастасия, супруга великого князя Николая Николаевича, и ее сестра Милица, супруга великого князя Петра Николаевича.

Сестры увидели, как жилистый, заросший черной цыганской бородой человек колет дрова – отчаянно хакает, вскрикивает, плюет на колун, было в его движениях что-то колдовское, таинственное, бесшабашное.

– Вот так наши предки рубили своих врагов, – заметила одна сестра другой.

– Увидев, что на него смотрят две знатные дамы, Распутин аккуратно отложил топор в сторону и низко им поклонился.

Это сестрам понравилось. Не разговаривать, не расспросить этого человека о житействе было нельзя; в монастырях все считаются равными и часто бывает не важно, кто с кем разговаривает, здесь вели себя на равных и человек из королевской семьи, и простой обыватель, занимающийся починкой сапог на Андреевском спуске либо же прямо за воротами Михайловского монастыря, на зеленой лужайке.

Переговорив с Распутиным, сестры пригласили его к себе на чай – он им приглянулся тем, что был из народа: наступала та самая пора, когда верхи тянулись к низам, смыкались с ними, гордились, если хождение в народ удавалось, – приглянутся тем, что, оказывается, дважды пешком ходил на Святую землю, там, что умел очень складно и легко говорить.

Наверное, здесь и была допущена некая историческая ошибка, в результате которой Распутин из обыкновенного сибирского мужика, привыкшего босиком ходить по земле, а по нужде забираться в ближайшие лопухи, превратился в некоего негласного повелителя царской семьи.

Сестры еще несколько раз встречались с ним на михайловском монастырском подворье, пытаясь разобраться в этом человеке, понять, что же в нем такого притягательного есть? Ни Анастасии, ни Милице не пришло в голову, что они имеют дело с обыкновенным человеком, наделенным гипнотическими способностями, а все остальное – разговоры про святость, про Бога, про земли, на которых этот человек побывал, про монастыри и знаменитых монахов – это наносное, идущее больше от расчета, чем от действительной веры.

Но человек этот умел заговаривать боль, останавливать кровь и лечить разные болезни.

Как-то вечером при свете тусклой керосиновой лампы-семилинейки Милица Николаевна спросила Распутина, знаком ли он с такой болезнью, как гемофилия?

Распутин первый раз в жизни слышал это слово, но тем не менее ответил утвердительно: – Да!

И хотя взгляд Распутина был тверд, смотрел он прямо, Милица усомнилась в том, что тот знаком с этой редкой и непонятной болезнью. Спросила:

– Вы знаете, что такое гемофилия?

– Это... это, когда кровь бежит, бежит и не останавливается. Человек вообще может умереть, если у него не остановить кровь. Так ведь?

Распутин попал в точку.

– Так, – сказала Милица. – А чем она лечится?

– Травами, только травами. – Распутин назвал несколько трав, которые не были известны ни Милице, ни Анастасии.

– А у нас под Санкт-Петербургом, в лесах наших, они есть?

– Есть, только, может быть, называются по-другому.

– А кроме трав... никакая фармакология разве не способна помочь?

Слово «фармакология», так же как и «гемофилия», озадачило Распутина, лицо у него на миг подобралось, словно великая княжна произнесла что-то неприличное, но Распутин умел быстро ориентироваться в любой обстановке, ничто не сбивало его с толку – Гришку, которого вскорости стали именовать «старцем», вообще невозможно было сбить с толку, он с невозмутимым видом наклонял голову:

– Только трава, и больше ничего. Трава – единственное и главное лекарство.

Милица Николаевна говорила что-то еще, но Распутин не слушал ее, когда же она замолчала, поинтересовался вежливо, будто бы думал о чем-то своем, высоком:

– А что, кто-то из близких болен этим самым... ну, когда кровь не останавливается?

– Болен Алексей Николаевич, – чуть помедлив, сказала Милица Николаевна, – цесаревич, наследник престола.

Распутин на слова «цесаревич» и «наследник престола» никак не среагировал, будто бы и не слышал их, расправил рукою черную бороду.

– Если надо – помогу... Как же не помочь?

– Но для этого нужно приехать в Питер.

– Прибуду, – пообещал Распутин, считая, что приглашение в царскую семью он уже получил. – Раз надо самому батюшке-наследнику – я обязательно прибуду.

И вот он шел в Питер. Но не весь путь он одолевал пешком – и без того ноги сбиты, обувь горит, будто в костер попадает, – до Москвы он доехал на поезде и от Москвы до Питера поло-

вину одолел на поезде, а вот дальше пошел пешком, считая, что таким способом он привлечет к себе внимание, а главное – усилит свою святость.

Через день он был в Санкт-Петербурге – чопорном, блестящем городе, подавившем Распутина своей красотой, ровностью улиц, распаренной гладкостью мостовых, где все камешки уложены так ровно, что хоть линейкой замеряй, обилием белых колонн и пилонов на домах, лихими извозчиками, стремительно, будто ветер, носящимися по Питеру, – не приведи Господь попасть такому под колеса: мигом сомнет, раскатает в блин, извозюкает конским навозом, да еще хозяин от всей души огреет кнутом.

Извозчиков Распутин стал бояться с первых часов пребывания в Санкт-Петербурге. Но еще более извозчиков он боялся генералов, которых в Питере насчитывалось более чем в каком бы то ни было другом российском городе. Разинув рот, на углу одной из нарядных улиц он загляделся на то, как генерал переводит через мостовую трех длинноногих, длинномордых диковинных гончих собак, и получил от генерала удар по зубам.

– За что? – вскричал, задохнувшись от боли, Распутин.

– А чтоб впустую не паялился, – добродушно ответил генерал. – Не положено.

Генералы – это не извозчики, генералы – статья особая, Распутин еще не раз в своей яркой жизни будет получать зуботычины от генералов.

Был даже случай, когда он от одного генерала даже спрятался под чугунной скамейкой Летнего сада и сидел там до тех пор, пока генерал – седенький, неторопливый, добродушный, со старческой одышкой и пушистыми, вышедшими из моды бакенбардами пушкинской поры – не одолел всю садовую, заставленную мраморными бюстами аллею.

А генерал совершал свой проход долго, у каждой скульптуры останавливался, внимательно читал название, восхищенно причмокивал губами, откидывался назад, чтобы скульптуру можно было оценить как бы со стороны, отойдя от нее, снова приближался и с удовольствием разглядывал мраморное творение. Распутин, сидя под скамейкой, скрипел зубами:

– И чего это он так медленно ноги по земле волочит? Будто смерть! А?

Произошло это вскоре после того, как на квартире у Распутина появился один важный генерал в шинели с малиновой подкладкой, вежливо поинтересовался у хозяина:

– Григорий Ефимович Распутин – это, простите, вы будете? – И когда Распутин, неожиданно ощутив себя важным, напружинив грудь, подтвердил, генерал, не произнося больше ни слова, коротко и умело, будто кулачный боец, развернулся и сделал то, что сделал с Распутиным генерал, переводивший через улицу гончих собак, – съездил, как принято говорить в народе, по зубам.

Распутин, задавленно охнув, отлетел к стене, больно приложился лопатками и задом к мебели, генерал же неторопливо отряхнул руки и вышел из квартиры.

Впоследствии Распутин узнал, что он увлекся любимой женщиной генерала и тот решил проучить «старца». После этого Распутин стал не на шутку бояться людей в генеральской форме и до конца дней своих не сумел одолеть эту робость.

Вскоре Распутин оказался в царской семье, робея, боясь дышать, поскольку рядом находились царь – невзрачного сложения подтянутый человек с добродушно-спокойным выражением лица – и статная синеглазая царица, осмотрел наследника – обычного, как ему показалось, мальчишку, непоседливого, не знающего еще, какое место ему будет уготовано в Российской империи, спросил тихо, покашливая в кулак:

– Скажи, маленький, а вот сейчас, в эту минуту, тебя что-нибудь беспокоит?

– Голова немного болит, – ответил мальчишка, – а так ничего.

– С головой... с головной хворью мы живо справимся. – Распутин распростер над темнем мальчишки свои ладони, через три минуты поинтересовался: – Ну как?

– Тепло. – Мальчишка не выдержал, поежился, потом засмеялся, будто от щекотки.

– А голова как? Болит?

– Вроде бы нет.

– Вроде бы... – недовольно проговорил Распутин, – вроде... Она вообще не должна болеть. А ты должен ощущать легкость.

– Я чувствую себя легко, – сказал наследник. Распутин громко втянул в себя воздух, так же с шумом выдохнул.

– Ну вот, все в порядке. – Сделал несколько завершающих пассивов над головой наследника.

– Теперь не болит... Совсем не болит. Спасибо, – вежливо произнес наследник.

– Одним «спасибо» не отделаешься, – сказал Распутин и засмеялся, потом оборвал смех, притиснул к губам ладонь – сказал вроде бы не то. Проговорил солидно: – Так будет всегда.

Царь осторожно подошел к нему:

– Скажите, что это за болезнь?

– Кровь, – неопределенно ответил Распутин. – Все дело в крови.

– Вылечить можно?

Распутин глянул на царя, прикинул что-то про себя, в следующую секунду сделался ниже ростом и уже в плечах – понимал, что над царем возвышаться нельзя.

– Эта болезнь не лечится, – сказал он. – Но пока я жив – все будет в порядке.

Фраза была простой и точной, Распутин определил ею свое место в царской семье, делал ее зависимой от собственной персоны.

С этой фразы и началось восхождение Распутина.

– Но Милица Николаевна заверила меня, что вы умеете избавлять людей от гемофилии. Травмами, – вяло произнес царь и умолк. Печально, будто ребенок, которого обманули, глянул на Распутина, повторил тихо, больше для самого себя, чем для собеседника: – Травмами.

Распутин отвел глаза в сторону.

– В данном разе – нет, не смогу, в данном разе – случай особый, очень трудный. – Он поднял руки, провел ими над головой. – Я вот ладонями, кожей чувствую, все чувствую – и боль, и места, где застаивается кровь, а зацепить не могу. Все очень глубоко находится, вот. – Распутин быстро глянул на царя, оробел и снова отвел глаза в сторону. – Травмами здесь не обойдемся.

– А чем обойдемся?

– Каждый раз, когда с Алексеем будет что-то происходить, будете вызывать меня во дворец. Только я способен ему помочь, больше никто.

– Никто?

– Вы же сами видели – врач здесь был. И что он сделал? Чем помог?

– Да-а. – Царь вздохнул, достал из кармана серебряный рубль, украшенный собственным профилем, и, как медаль, приложил к груди Распутина, проговорил прежним, тихим, голосом: – Рубль выглядит как награда. Вручаю за заслуги перед моей семьей, перед престолом. – Николай говорил серьезно, слова произносил хоть и тихо, но четко, будто выступал с речью перед годичным собранием какого-нибудь почтенного академического общества, голубые глаза его были спокойны. – Пока держите это, а подойдет пора – настоящую медаль получите.

Он сунул рубль в руки Распутину, тот не замедлил склониться перед царем

– Благодарствую покорно!

Про себя же подумал: «Ну и жмот! Редкостный жмот! За здоровье собственного отпрыска отвалил только рубль... Что мне рублем этим – зубы чистить? Рубль – не сотня! За такие дела положено «катеньками» расплачиваться. А медалька? Да на хрена мне медалька твоя? Обычное железо, из которого делают гвозди. В задую ея только ковыряться!»

Распутин еще раз поклонился перед царем:

– Благодарствую!

Когда он на поезде возвращался в Питер, то достал из кармана рубль, преподнесенный царем, всмотрелся в чеканный профиль, недоуменно приподнял плечи.

– Не пойму, он это или не он?

Огляделся. Народа в поезде было немного. Напротив Распутина на скамейке сидел сивый дедок купеческого вида, с лукавым быстрым взглядом и толстой медной цепью на животе. Цепь была тщательно надраена мелом, блестела как золотая. Это Распутину понравилось: «молодец, мужик, самоварное золото за настоящий металл выдает», позвал деда:

– Мужик, а мужик!

Дедок скосил на него один хитрый круглый глаз, второй глаз с любопытством следил за тем, что оставалось за пределами окна, за стеклами вагона, – глаза у него разъезжались в разные стороны, словно бы вообще не имели друг к другу никакого отношения.

– Ну!

– Скажи, ты царя видел?

– Живьем?

– Живьем.

– Было дело.

– Это он? Или не он? – Распутин показал разноглазому дедку подаренный рубль.

– Дай-ка посмотрю. – Дедок протянул к Распутину маленькую цепкую лапу с широко расставленными пальцами.

Распутин с опаской отдал ему рубль: а вдруг не возвратит?

Так оно и оказалось. Дедок внимательно осмотрел рубль, взял его на зуб, постучал челюстями металл, потом важно звякнул медной цепью.

– Это он!

– А не похож ведь!

– Еще как похож! – Дедок ловко подкинул рубль в руке, и тот неожиданно исчез прямо в воздухе – даже в ладонь не опустился, растворился, пока летел.

Рот у Распутина открылся сам по себе: первый раз он сталкивался с таким неприкрытым грабежом.

– А этот самый... – пробормотал он хрипло, облизал сухим языком губы.

– Что «этот самый»? Или кто?

– Рубль... Рубль где?

– Какой рубль?

– Ну, рубль был...

– А был ли рубль? – Дедок наклонился к Распутину, дохнул на него чесноком. – Ты смотри, любезный, не то я ведь сейчас жандарма позову. Тут, в поезде, есть два жандарма, в синем вагоне сидят, охраняют покой честных людей.

Синими вагонами в ту пору звали вагоны первого класса.

– Ы-ык! – испуганно икнул Распутин. Стольный град Санкт-Петербург продолжал преподносить ему свои уроки, учил жизни.

– Что, мил человек, не любишь встречаться с жандармами? – участливо спросил дедок, прошиб Распутина насквозь одним глазом – искристым, темным, будто хорошее сладкое вино, вторым глазом он продолжал наблюдать за картинами, что поспешно менялись за окном вагона. – То-то же, – молвил дедок, продолжая дышать чесноком. Он этим чесноком, похоже, был пропитан насквозь. Затем, выдержав паузу, проговорил доверительно: – Я тоже не люблю жандармов.

– Ы-ык! – вновь икнул Распутин, помял пальцами бороду, словно призывал на помощь каких-то ведомых только ему духов. – Ы-ык!

– Ничего, бывает и хуже, – успокоил его дедок.

– Ык! – Распутин сгорбился, приподнял плечи, словно бы забираясь в самого себя, как в некий мешок. – Ы-ы-ык!

– Бывает, что человек вообще язык проглатывает, – сочувственно проговорил дедок. – Знаешь, как тяжело вытаскивать язык, провалившийся в глотку?

– Ык-к! – Икота у Распутина от этих слов пошла на убыль, будто они оказались целебными.

– Легче стало? – Дедок усмехнулся и назидательно подмигнул Распутину. – А рубль – это гонорар. Сделал дело, получил справку – гони деньгу! Гонорар называется.

– Ык! Верни рубль! – безголосо просипел Распутин. – Я тоже позову жандарма.

Дедок вновь склонился к нему, произнес жалостливо:

– Ничего-то ты, дурак, и не понял! Учи вас, учи... Все учеба не в коня!

– Рубль... Где мой рубль?

– Как ты думаешь, кого заберет жандарм, когда заявится сюда? Тебя, оборванца, или меня, купца второй гильдии, владеющего в Новой Голландии дровяным складом? А?

Распутин еще больше втянул голову в плечи, сиротливо покосился в окно. Было ему обидно, в душе образовалась какая-то дырка, пустота, вызывающая слезное щемление, что-то горькое. В дырке разбойно посвистывал ветер.

– Ык!

– Вот именно «ык», – рассудительно, совсем не злобно произнес дедок.

Рубль Распутину он так и не отдал, а на перроне Николаевского вокзала, когда приехали в Питер, первым вышел из вагона. На Распутина он даже и не глянул, словно того не существовало на белом свете, двинулся по перрону к выходу, важный, внушительный, хотя из толпы он ничем не выделялся – ни ростом, ни внешностью, был такой же, как и все. Но слишком уж он подмял под себя Распутина – настолько подмял, что казался и великаном, и человеком не менее сановным, чем генерал, облагородивший Распутина оплеухой.

Распутин угрюмо пошел за дедком следом, держась шагах в десяти-пятнадцати от него. Попробовал насрать на дедка напасть, да ничего у него не получилось – дедок был сильнее Распутина, стоял ближе к нечистой силе, и все старания будущего «старца» оказались тщетными. Лицо у него невольно перекошилось, поползло в сторону, в горле что-то забулькало. Ловко же обвел его дедок! Ну как малого дитячко вокруг пальца!

Санкт-Петербург – это столица, а у всякой российской столицы, где бы она ни располагалась, законы, как известно, волчьи, народ здесь живет ловкий, подошвы у ботинок научился «обстригать» так, что «обстриженный» даже не замечает этого: только что был в баретках, а глядь – уже шлепает босой. Босой, но зато с тростью. Здесь свои короли, свои охотники, свои зайцы, своя капуста. В столице лучше всего выступать в роли короля-охотника, хуже всего – зайца. Распутин выступил сегодня в роли зайца.

– Ничего, и наш день подгробется, – пробормотал он угрюмо, глядя, как дедок садится на лихача – аккуратно, словно бы боясь расплескать себя либо повредить плохо гнущиеся чресла, – наступит этот день – и ты, дядя, ляжешь в сырой подвал, в узкую квартирку среди бочек с мочеными яблоками. Обязательно ляжешь! Придет твой срок!

Дедок хлопнул лихача ладонью по плечу и исчез. Больше его Распутин никогда не видел.

Часть первая

Покушение на Распутина

Летом 1914 года в Петербурге прибавилось работы у зеркальных дел мастеров – и это народу показалось странным в прихожих и гостиных добротных домов сами по себе лопались огромные хрустальные зеркала, хотя никак не должны были лопаться, – прочность их была необыкновенной, зеркала не брал даже камень, со стен сверзались вместе с рамами, коража и выворачивая толстые кованые гвозди, хрустальные доски, натертые ртутью; зеркала взрывались с винтовочным грохотом и осыпались искристыми грудями на пол – горожане никак не могли понять, что же происходит? Уж не завелась ли в чистейшем городе Санкт-Петербурге какая-нибудь нечисть?

Упорно поговаривали, что Санкт-Петербург будет скоро переименован, но в переименование никто не верил, считая это вымыслом болтливых людей – имя города уже укоренилось в истории, в голове, в сознании стариков и детей – всех, словом, и вряд ли кто мог смириться с тем, что Санкт-Петербург станет, допустим, Невскградом, Великососновском, Балт-градом, Озеродаром или просто Озерском. Но слово «бург» – немецкое слово, антигерманские настроения в народе росли, и с этим нельзя было не считаться.

Бог с ним, с переименованием! Но почему в Петербурге стали лопаться зеркала?

Как известно, разбитое зеркало – худая примета, хуже которой может быть только явление нечистой силы либо пролитая кровь. Но и это еще было не все. На окраинах Петербурга курицы стали орать петушиными голосами, чем вводили в смертельную бледность хозяев, это тоже плохая примета, к покойнику, а в доме шкипера Федорова на Васильевском острове родился шестиногий теленок. Тут уж и вовсе рассуждать было нечего, все самые головастые толкователи снов, примет и явлений озадаченно умолкали – разобраться в таком не могли даже они. Ясно было одно: людей ждали перемены.

С помоек Петрограда исчезли крысы – разом переместились куда-то, ушли целой армией; собаки начали выть по ночам по-волчьи; в родильных домах на свет стали появляться только мальчишки – ни одной девочки, только мальчишки и мальчишки, что тоже наводило на раздумья: к чему бы это?

Беда висела в воздухе, она была ощутима, ее можно было даже потрогать пальцами, как вообще можно было трогать петербургский воздух – клейкий, влажный, туманный, будто дым, пропитанный солью, йодом, рыбой и ладаном.

И погода в Петербурге установилась необычная – теплая, как на юге, безмятежная. Небо было гладким, без единого облачка, глазированным, словно пряник, поблескивало изнутри мелким белесым крапом. В дачных поселках под Петергофом, на берегу залива, на станциях пышно цвела сирень и играли духовые оркестры, рождающие в душе тоскливое щемление и неизвестность, а старые солдаты-инвалиды, прошедшие Мукден и Порт-Артур, перестали просить милостыню – стеснялись.

И все-таки жизнь была прекрасна. Белые ночи – затяжные, только перед самым утром чуть затухающие – дурили головы гимназистам и гимназисткам. В лесах появилось много ранних грибов – сочных, крупных и, что самое главное – нечервивых. Словно бы и черви тоже исчезли с этой земли, переместились в иное измерение, в иное состояние и вообще стали чем-то иным, неведомым, а может, готовились к чему-то такому, о чем люди и не подозревали.

В один из таких теплых душных июньских дней Григорий Ефимович Распутин, известный сибирский старец, недавно поселившийся в большом доме на Гороховой улице, отправился на ипподром смотреть конные скачки.

Скачками он никогда не увлекался, лошадьми тоже, а по части азарта, считал, есть другие, более достойные увлечения, конского пота не переносил, запаха свежих дымящихся яблок, вываливающихся из-под хвостов прямо на песок дорожек, – тем более, но на ипподром пошел охотно, ибо пригласила его туда госпожа Лебедева, двадцатипятилетняя жена статского советника, специализирующегося по горнорудному промыслу, женщина редкостной красоты, при виде которой у старца начинала кружиться голова, а на жестком темнокожем лице возникало рассеянно-восхищенное выражение, сжим крепкого рта расслаблялся, а глаза – голубовато-светлые, загадочные, с внутренними свечечками, застывшими в зрачках, – эти свечечки горели то сильнее, то слабее, но никогда не угасали, и этот таинственный огонь притягивал к Распутину людей, не было у него знакомых, которые не отметили бы свечечек, словно бы Богом зажженных в глазах Распутина, – становились яркими и томными.

Был он одет в красную шелковую рубаху, перепоясанную тонким кожаным ремешком, украшенным мелкой серебряной насечкой, – этот ремешок, сделанный татарским умельцем, Распутин приобрел в мае в Крыму, но носил его редко, – в черные, хорошо сшитые штаны, заправленные в лакированные, на воинский лад подпирющие самое колено сапоги. Темные, без единой седой прядки волосы были расчесаны посредине на пробор, руки Григорий Ефимович часто запускал в бороду, выколупывал оттуда что-то, подносил к ноздрям, нюхал, иногда бросал в рот крошку, жевал.

Был он настроен мрачно, но с дамой говорил мягко, стараясь подбирать «деликатные» слова.

– Что с вами, Григорий Ефимович? – участливым тоном спросила Лебедева. – Вы вроде бы сам не свой? Случилось что-нибудь?

– Нет, не случилось. – Распутин наклонил голову, посмотрел себе под ноги. Пол между ипподромными скамейками, покрытыми свежим рыжеватым лаком, был тщательно подметен и обрызган душистой водой: сегодня на ипподроме ожидали знатных гостей. Сам Распутин тоже принадлежал к числу знатных – к нему уже дважды прибежал служка от хозяина, спрашивал, не надо ли чего? Распутин с хмыканьем отсылал его обратно – ничего ему было не надо. И Зинаиде Сергеевне Лебедевой тоже ничего не надо было. Служка убежал огорченный. – О германце думаю, – пояснил Распутин.

– И что же германец?

– Хитрый он. И хорошо организованный, в отличие от нас.

– Будет с ним война?

– А кто знает? – Распутин приподнял плечи, обтянутые красным шелком, поежился. – Не хотелось бы! – Недобро покосился на вторую свою спутницу, язвительную старуху Головину, никак она не хочет оставить их вдвоем с Лебедевой, сидит неподвижно рядом, изредка вставляет в речь что-нибудь колкое, язвительное, переживает за свою дочку Муню – а вдруг «старец» отдалит ту от себя? «Статуй, – неприязненно думал о Головиной Распутин, – ворона кастрированная. Как клювом-то ворочает! Того гляди, печенку расклюет. А? И с кишками выдерет. Во дворе стоял статуй... Тьфу!»

– Не молчите, Григорий Ефимович, – попросила Лебедева, – скажите что-нибудь.

– Настроения нет, – вздохнул Распутин, поиграл знатным крымским ремешком.

– Али чувствуете что? – спросила Лебедева.

– Может быть, – неопределенно отозвался Распутин, насупился, свечечки в его глазах запылали ярко, неземно, и он, покосившись на Головину, повторил чуть придушенным голосом: – Может быть!

– И все-таки, Григорий Ефимович, будет война с немцами? Не скрывайте, пожалуйста. Вы знаете куда больше, чем многие министры, и уж куда более нас, двух бедных женщин. Вы ведь... – Лебедева не договорила, подняла глаза, посмотрела в пряничную небесную высь,

словно показывая, какое положение занимает Распутин в России, при царском дворе и в министерских кабинетах.

– Я не хочу этой войны, – твердо проговорил Распутин, – очень не хочу и сделаю все, чтобы ее не было. Хватит! Будет! – Он громко сглотнул. – И так русский мужик довольно пролил своей кровушки. Надо ль лить еще? – Голос его наполнился теплом, это засекла Головина, по-вороньи фыркнула, дернула плечом.

– Не надо, и я за это, – не замедлила отозваться Лебедева. – Война – это страшно. Но мы ведь так повязаны с английским и французским капиталом, что стоит только Англии или Франции недовольно поднять левую бровь, как Россия тут же нажмет на спусковой крючок винтовки – Россия не оставит своих союзников.

– А мамаша? – неожиданно спросил Распутин.

– Что «мамаша»? – не поняла Лебедева. Старуха Головина вновь по-вороньи фыркнула. – Что «мамаша»? – переспросила Лебедева.

– Мама-то – немка!

– А-а, – наконец-то сообразила Лебедева.

– А папа, папаша, в конце концов!..

– Что «папаша»?

– Папаша в этой жизни – тоже не последний человек, совсем не последнее место занимает. – Распутин замолчал, отвел глаза в сторону.

Над ипподромом возник тонкий, чуть с дребезжаньем голос серебряного рожка – через пять минут должны были начаться скачки.

«Папой» Распутин звал Николая Александровича Романова, русского самодержца, и, как свидетельствовали очевидцы, случалось, звал иногда даже в лицо – имел, видно, на это право, «мамой» – царицу Александру Федоровну.

Если царь относился к Распутину настороженно, с молчаливым недоверием, то царица в «старце» не чаяла души – наследник Алексей был для нее самым дорогим человеком, она любила болезненного, с прозрачной кожей и тонкими чертами лица Алексея больше всех на свете, больше своих дочерей – великих княгинь.

– Я сделаю все, чтобы войны этой не было, – угрюмо проговорил Распутин, и по жестким ноткам, возникшим в его голосе, было понятно, что он действительно сделает все, чтобы войны не было, а сделать он мог больше, чем председатель Совета министров, военный министр, министры иностранных и внутренних дел, вместе взятые. – Папа меня послушается, – произнес Распутин убежденно. – Не хочу я войны, не хочу! – Он стукнул кулаком по колену. – Не люблю я войн, не люблю, не люблю!

Помолчав немного, он засунул руку в карман, достал оттуда горсть хорошо прожаренных семечек, очень крупных и чистых. Предложил Лебедевой:

– Хотите?

Та энергично помотала головой:

– Нет!

– Я тысячу раз пробовал от них отвыкнуть – не получилось. Не могу, – признался Распутин. Лебедева деликатно промолчала.

– Подсолнухово семя продлевает человеку жизнь. Доказано умными людьми.

– Кем конкретно? – поинтересовалась Лебедева.

– Учеными мужами. Этот самый доказал... – Распутин поморщил лоб и зашевелил губами. – Землячок мой... Менделеев! – произнес он с обрадованным видом.

Раздался второй сигнал серебряного рожка – до начала скачек оставалось три минуты.

– Вы будете ставить на лошадей? – спросила Лебедева.

– Мне никогда не везет: несколько раз ставил – выигрыша не было.

– А вдруг повезет?! Попробуйте! – предложила Лебедева.

Распутин в ответ хмуро качнул головой:

– Чего искушать судьбу?

– Полноте, Григорий Ефимович! – Лебедева потеревала его за рукав. – Какая уж тут судьба? Мелочи одни!

– Не скажите! – строго произнес Распутин.

Лебедева уговорила Распутина – он поставил на вороного жеребца по кличке Чардаш, на котором шел жокей Свирицкий.

– Если не повезет – вы будете виноваты, Зинаида Сергеевна.

– Беру этот грех на себя!

Распутин промолчал, улыбнулся. Не удержавшись, вздохнул:

– О-хо-хо! – Поймав взгляд Лебедевой, сказал: – Папа меня послушается! Обязательно послушается. А если не послушается, то как же он будет выглядеть перед мамой? А? Вот вопрос. – Распутин поймал зоркими глазами хищную птицу, повисшую в небе, прищурился, словно бы беря ее в прицел. – И птицы эти – не к добру, – сказал он, – летает очень хищная птица, ворона перед ней – ребенок.

Распутин искренне считал, что воевать с организованной, обутой в хорошие хромовые сапоги, имеющей сильный флот и авиацию, вооруженной пушками Круппа Германией нельзя. Бесплезно. Так считали и сильные мира сего: Штюрмер, Маклаков, Протопопов, Белецкий <см. *Комментарии, Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович...*>. Но и Штюрмер и Протопопов выражали эту точку зрения осторожно, боясь вызвать недовольство, а Распутин в словах себя не ограничивал, что думал, то и говорил. Не боясь, что его поймут неправильно или того хуже – накажут. Чего-чего, а наказания он не боялся. «Если что – маме пожалею, мама, она всем заступница, а мне – в первую очередь», – подчеркивал Распутин.

Пользуясь тем, что царица принимала его, а царь Николай Александрович, находившийся под пятой своей жены, обязательно выходил к «старцу», когда бывал дома, Распутин назначил немало людей на высшие посты России, в том числе и министерские. Нельзя сказать, чтобы он делал это за взятки, хотя от денег он никогда не отказывался, с одинаковой легкостью беря и три тысячи рублей, и двадцать копеек, или преследовал личные цели – нет, Распутину нравилась власть, нравилось то, что он потом мог сказать своему подопечному при людях: «Ты, батенька, опять сегодня с утра не высморкался, на носу – вона, мутная капля висит, отойди-ка в сторону, вытрись! Носовой-то платок есть? Свежего не дать?» И надо было видеть при этом его торжествующее лицо, осанку и взгляд, брошенный на чины сопровождения и охраны – те выпячивались перед своим шефом и тушевались, и вообще Распутину доставляло удовольствие сознание того, что он может делать то, чего не могут делать другие.

Кто такой Распутин? Человек, который потряс в начале двадцатого века Россию? Нет, он потряс не только Россию, о нем часто писали газеты Франции, Англии, Германии, Италии – об иных коронованных особах, прибывающих с визитами в Париж или на водные курорты Баден-Бадена, не писали так, как писали о Распутине. В России газеты фиксировали почти каждый шаг «старца» – вначале какая-нибудь столичная газета, а потом за ней – словно бы по цепи – почти все газеты от Смоленска до Владивостока. Например, стоило газете «День» поместить заметку «Квартира на Английском проспекте, где проживал Распутин, сдается», как эту заметку мигом подхватывали почти все петербургские и московские газеты, а за ними и все другие прочие...

Особенно любили газеты перепечатывать заметки типа «22 марта выехал в Тюмень Гр. Распутин с отцом». Таких заметок не давали даже о передвижении министра внутренних дел России Маклакова – жизнь Маклакова была куда скромнее, чем жизнь Распутина, и хроникеры редко проникали в нее. Расположение Распутина часто значило больше, чем расположение Маклакова или директора Департамента полиции Белецкого.

Каждое утро в его квартиру набивалось много народа: генералы сидели на одной скамье с оборванными нищими, юные, пугливые гимназистки – с безносыми бородатými старухами, от которых пахло навозом, блестящие франты, выходцы из высшего света, – с безродными работягами, ночующими в подвалах, худосочные чиновники в протертых брюках, которым надо было получить хотя бы малую прибавку к жалованью – рядом с людьми, которым ничего не надо было, они оказались в распутинской гостиной только ради любопытства: хотелось увидеть Распутина – тобольского мужика, чьи изречения царица Александра Федоровна заносила наряду с изречениями известных зарубежных мудрецов к себе в отдельную книжечку.

В девять утра – иногда на несколько минут позже, но почти всегда в одно и то же время – в гостиной, позевывая, выскребая из бороды крошки, появлялся Распутин, отвечивал общий поклон:

– Здрассте вам!

– Одет он был по большей части в знакомую красную рубаху и черные тонкие брюки – суконные, рубчиковые или шелковые, наиболее подходящие для жаркой погоды и плясок, на ногах красовались легкие галоши либо черные лакированные туфли: в доме Распутин сапог не признавал, считал их тяжелой обувью, – и что всем бросалось в глаза, галоши и туфли он надевал на босу ногу и иногда, когда сидел, вытаскивал ногу из галоши и шевелил длинными, покрытыми редким волосом пальцами – это доставляло ему удовольствие.

Если хор голосов, отзывавшихся на распутинское «здрассте вам» был нестройным, Распутин, добродушно щурясь, повторяя:

– Здрассте вам! – и снова отвечивал поклон. Выслушав ответ, начинал обход собравшихся.

Он шел по кругу, останавливался у каждого, заглядывая в глаза, брал заготовленную бумагу, если она была заготовлена, кивал: «Ладно, помогу» или: «Переговорю тут с одним человеком, он может подсобить», – в основном ему подавали прошения о продвижении по службе, о поручительстве в заеме денег под имущество, и старец почти все выполнял, но случалось, что Распутин останавливался у иного просителя и брал его за пуговицу. Произносил истончившимся, каким-то дырявым голосом:

– Слушай, милый, а ведь я тебе уже два раза помогал... В этом самом... в продвижении по службе. Ты дважды продвинулся, но надежд не оправдал... Ты, б-батенька, знаешь кто? – Ты... – ты сам знаешь кто! Иди-ка, друг, отсюда и больше не приходи – Не глядя в бледное, вытянутое лицо «не оправдавшего надежд», Распутин двигался дальше – память у «старца» была острой, он помнил почти всех людей, с которыми встречался и имел дело.

Нищим, пришедшим к нему на «утренний прием», он давал деньги – в основном мелочь, но, случалось, доставал из кармана и серебряный рубль – деньги по тем временам немалые – и с размаху, громко, словно грузчик, шлепая его в протянутую ладонь – жадным «старец» не считался и денег у себя не держал, одной рукой он брал деньги, другой давал.

Часа за полтора Распутин управлялся со всеми, кто находился в прихожей. По свидетельству Департамента полиции, который вел за Распутиным тайное наблюдение, в день у него иногда бывало до трехсот человек. Потом «старец» уходил пить чай с баранками и вареньем. Больше всего на свете Распутин любил баранки, варенье и семечки.

Варенье для него специально готовили поклонницы, семечки присылали из деревень.

В час дня к подъезду подкатывал автомобиль, за рулем которого сидел шофер в рыжей непродуваемой куртке и «аэропланых» очках, украшающих мягкий французский шлем. Распутин выходил из подъезда и садился в авто.

Под уважительными взглядами зевак автомобиль пускал кудрявую струю дыма, заставлял людей чихать и морщиться, шофер нажимал на резиновую грушу клаксона и отъезжал. Распутин отправлялся с визитами к «сильным мира сего» – тем, кто мог дать ход бумагам, собранным во время приема.

Возвращался он вечером, иногда совсем поздно, часто в подпитии, пахнувший сладкой марсолой или одним из самых любимых своих вин, которое он называл одинаково любовно «матерцей»:

– Матерца тоску снимает!

Санкт-Петербург той поры был полон странных людей, многие из которых попали в окружение Распутина – их словно бы течение специально прибывало к квартире «старца», будто сор, иногда они задерживались надолго, иногда пропадали, чтобы потом возникнуть вновь, некоторые же исчезали навсегда.

Одной из главных среди них была, несомненно, Лохтина, «штатская генеральша». Это ей, по преданию, Распутин был обязан грамотой – она научила его из палочек-черточек складывать буквы, и Распутин, познав их, долго сидел с изумленным лицом.

Впоследствии Распутин так и писал – крупными палочками с округленными макушками и низами, там, где буквы надо было округлять, с большим количеством ошибок. Он умудрялся в слове из трех букв сделать пять ошибок: слово «еще» он писал «истчо». Почти все знаменитые его записки-«пратецы» – послания различного рода начальникам – начинались словами: «милай дарагой памаги» – без всяких знаков препинания, и «старец» очень обижался, если его цидулы оставались без внимания.

Генеральша была дамой оригинальной, ходила в белом либо в черном цилиндре пушкинской поры, густо красилась, возраста была неопределенного и первой в Питере положила глаз на «старца», трезво оценив его жилистую фигуру, возможности по части разных удовольствий и одновременно – святости, и решила совместить приятное с полезным. Многие считали ее сумасшедшей, но Лохтина показала себя далеко не сумасшедшей (хотя годы свои закончила в психиатрической клинике) и на истории с Распутиным сумела сколотить себе немалый капитал. Впрочем, желание получить удовольствие иногда брало верх над разумом, и тогда Ольгу Константиновну одолевали бесы.

Лучшим лекарством от этого был Распутин, он, как никто, умел мастерски изгонять бесов, и Лохтина часто пользовалась «лекарством», но потом надоела «старцу», и он только морщился при виде ее.

Однажды она приехала к нему даже в Покровское – прикатила на богатой коляске, увешанной лихо тренькающими колокольчиками, подняв на деревенской тихой улице огромный столб пыли.

Распутин, почесываясь и зевая, вышел на крыльцо.

– Ну, чего пылюгу подняла?

Лохтина, уловив в голосе «старца» сердитые нотки, бухнулась перед ним на колени, прямо на загаженную курами и поросятами землю:

– Прими, отец родной!

Распутин с неожиданным интересом глянул на генеральшу.

– Заходи, – сказал он и посторонился, пропуская в дом Лохтину, украшенную какими-то блестками, ленточками, металлической рыбьей чешуей, перьями, цветными пуговицами, стеклярусом, кнопками, кружевами, рюшечками, оборками, – и всего этого было видимо-невидимо, глянул во двор – нет ли посторонних глаз, и плотно закрыл за собою дверь.

Через час генеральша с визгом вылетела на крыльцо, следом за ней вынесся босоногий, растрепанный, с клочкастой бородой, хрипящий Распутин, догнал генеральшу и со всего маху припечатал ее сзади ногой. Генеральша только взвизгнула, слетая с крыльца.

Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.

Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.

– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.

– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.

А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.

Одной из самых знатных дам в российской столице была Головина – вдова влиятельнейшего человека, царского камергера Евгения Головина, женщина, до глубокой старости сохранявшая следы былой красоты, осанку, острый живой ум, одевавшаяся, в отличие от генеральши Лохтиной, «простенько и со вкусом», но тем не менее, как и Лохтина, безмерно преданная Распутину, хотя и сердитая. Впрочем, Бог с ней, со старой Головиной, гораздо более ее «старцу» была предана камергерская дочь Мария Евгеньевна, в обиходе – Муня. Иногда ее звали Мунькой. Мунька, случалось, месяцами жила у Распутина.

Высокая, худая, с козьей грудью и низким голосом, Муня Головина, однажды испробовавшая, что такое «изгнание беса из тела», готова была, так же как и генеральша, изгонять беса по нескольку раз на день – дело это ей страшно полюбилось. Она, случалось, подменяла Распутину секретаря, пыталась выдать из окружения «старца» Лапшинскую, а потом и Симановича, ревновала Распутину ко всему и вся. Он помыкал ею как хотел, даже животными, наверное, так не помыкают, как он помыкал Муней. Муня терпела.

Говорят, «старец» даже доходил до того, что заставлял пить воду из таза, в котором мыл ноги, и Муня делала это покорно и благоговейно, Она прошла с Распутиным через всю его питерскую жизнь, вплоть до смерти.

В поле зрения Распутина также попал – он просто не мог не попасть – очень странный человек из знатного рода, князь Михаил Андронников. Кличка у Андронникова была совсем неподходящая для княжеского звания – Побирушка. Был Побирушка похож на ходячую, несвежую, уже заплесневелую котлету. Самое красочное и точное описание его дал Сухомлинов <см. *Комментарии*, Стр. 37. *Сухомлинов Владимир Александрович...*>, бывший военный министр России: «По наружному виду – это Чичиков: кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облакающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого ему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства с переменной министра.

Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. Способность втираться к власти имущим была у этого человека совершенно исключительная. Весьма немногим из тех, кто был намечен князем, удалось избежать чести пожимать его нечистую руку. А были и такие, которые в нем и души не чаяли. Тайна его положения обуславливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах».

По части того, что Андронников был бессребреником, бывший военный министр, а в недалеком прошлом – киевский генерал-губернатор, думаю, здорово ошибался. Или просто спутал Побирушку с кем-то еще.

Хотя Андронникова действительно часто пинали ногами, перешвыривая из одного ведомства в другое, но зарплату он получал регулярно: то находился на денежном содержании у военных, то расписывался в эмвэдэшной ведомости, то оказывался на «краю краев» Табели о рангах – там, где ведают почтами либо нарезом земли.

Вид у Побирушки был отталкивающим. Обрюзгший, с оплывшими щеками и жирными бабьими плечами, неряшливый, с сальными завитками волос, он был крайне неприятен. И, само собой, походил на побирушку, ночующего на городской свалке. Оттого его и прозвали Побирушкой.

Обладал он одной особенностью. Если Побирушка появлялся ранним утром в какой-нибудь квартире с букетом жиденьких цветов, с неизменным своим кожаным портфелем, набитым для солидности старыми газетами и туалетной бумагой – специально показать, что владелец находится при портфеле и вообще он велик, вхож ко всем выдающимся людям и проблемы решает только государственные, ниже не опускается, – и отвешивал низкий поклон хозяину, это означало одно: хозяина ждало солидное повышение по службе.

Откуда Андронников добывал сведения о том, что хозяин пойдет в гору – не ведомо было никому.

Говорят, что из типографии, где печатали высочайшие указы, брал там верстку, жадно прочитывал и резво мчался к очередному государственному чиновнику, смиренно прося впоследствии его не забыть. Создавалось впечатление, что не царь подписывал указы о новых назначениях, а Побирушка.

Когда в Питере появился Распутин, Побирушка сблизился с ним и через некоторое время стал ходить в квартиру «старца» как к себе домой.

Вот там-то, на кухне у Распутина, ему действительно довелось принять участие в назначении нескольких важных государственных чиновников. Но это было позже. Много позже.

А вот еще одна любопытная фигура из распутинского окружения. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. В обществе его знали в основном как журналиста. В более узких кругах – как шпиона, стукача, человека, чьи доклады принимал сам начальник Департамента полиции. Лично. С глазу на глаз.

Манасевич-Мануйлов отличался от Побирушки и ему подобных. Это был светский человек. В парикмахерской ему делали маникюр. Как иной избалованной, изнеженной дамочке.

Родился он в семье очень делового человека – Тодеса Манасевича, умудрившегося по почтовой части обставить всю Россию и принести ей такой денежный урон, какой, наверное, не принесло нашествие Наполеона, – выдавшие виды чиновники с клейкими ладонями, сами большие мастера хапнуть, лишь стонали от зависти: такое им было не под силу. Мозги имели не те. Разбогатевший Тодес захотел переместиться из захолустного городка на западе России, в котором жил и в котором, случалось, погибали застрявшие в грязи лошади и их не удавалось вытащить, – в столицу, и взятки соответствующие приготовил, но светлым мечтам Тодеса Манасевича не суждено было сбыться – его загребли.

Грубо, беспардонно, вывернув руки и навесив на них тяжелые наручники. За деятельность, нанесшую большой экономический урон государству, Тодеса уперли в Сибирь. До окончания века кормить тамошних комаров. Так Тодес Манасевич в Сибири и сгинул.

Сынка его, мягкотелого толстяка с печальными крупными глазами, взял к себе купец Мануйлов. Через некоторое время он вместе с приемным сыном принял лютеранство. Сын, имевший сложное еврейское имя, стал называться Иваном, отчество, естественно, получил – Федорович. Имя «Федор» к Тодесу стояло ближе всего. Фамилию же начал носить двойную: Манасевич-Мануйлов.

Деньги, которые купец Мануйлов оставил после своей смерти – большие деньги, подросток Ванечка, оказавшийся большим любителем сладкого, быстро прокутил и пошел работать в охранку. По части стукачества ему, говорят, не было равных – он превзошел самого себя, и через некоторое время двинулся по служебной лестнице вверх.

Его послали в Париж – уже не по стукаческой части, а с поручением более «благородным» – шпионить. Дали большие деньги – столько валюты, что на нее во Франции можно было купить пару хороших особняков. Ни пару особняков, ни даже один Ванечка не купил – он прокутил деньги. В конце концов их не стало совсем – не на что было даже купить простенькую ручку со стальным дешевым пером «рондо», – Ванечка Манасевич-Мануйлов сел на мель.

Парижские проститутки, в отличие от Санкт-Петербургских, брали много, потому Ванечка и разорился – промотал даже те деньги, которые были положены ему на жалованье. По

всем законам он должен был отправиться на свидание к своему предприимчивому папаше кормить сибирских комаров, но этого не произошло: люди, проходящие по шпионскому ведомству, так бесславно свои дни не заканчивали, не исчезали, они все были на виду, каждый – на счету, как ОЦС – особо ценные сотрудники. Ванечка был ОЦС.

Лютеранин по навязанной ему вере, иудей по происхождению, Ванечка неожиданно заделался отчаянным православным и был послан в Ватикан. Как это ни смешно – защищать там интересы православной веры.

И заодно шпионить. И воровать. Воровал Манасевич-Мануйлов так, как другим и не снилось. Впрочем, Ванечка и работал. Но как?! Например, он достал секретные коды японской разведки – это было в тяжелую пору Русско-японской войны, когда наши солдаты тысячами ложились в землю под Мукденом и Порт-Артуром, такие коды могли сохранить столько жизней! Ванечка содрал с охраны бешеные деньги – на них в Париже можно было купить либо построить целый квартал. Когда же с кодами начали работать специалисты, оказалось – это обычные, выданные наугад страницы из англо-японского словаря. Деньги в казну Ванечка, естественно, не вернул.

В конце концов вора из шпионского ведомства вышибли, и он оказался на улице.

Еще в детстве Ванечка Манасевич научился складывать слова в предложения, предложения во фразы и целые колонки, колонки в страницы и так далее, поэтому, очутившись на улице, Ванечка Манасевич-Мануйлов решил осчастливить собственной персоной русскую журналистику.

Он начал работать на фамилию Сувориных <см. *Комментарии, Стр. 40...на фамилию Сувориных*>, на отца и сына, на «Новое время» и «Вечернее время», перемещался из одной редакции в другую, где наострил довольно успешно стричь купоны. Писал он по большей части различные рецензии и отзывы. Пером он владел ловко, но беспринципно – например, актриса, о которой он собирался дать положительную статью, должна была с ним переспать да еще заплатить за отзыв хорошие деньги.

Насчет «переспать» для многих было противно; Манасевич-Мануйлов насквозь пропах луком и водкой, от сияющей позеленевшим золотом улыбки некоторым дамочкам делалось дурно, и они спешили сунуть Ванечке в руку пару-тройку лишних купюр, лишь бы не спать с ним. Манасевич-Мануйлов еще в юные годы вставил себе золотые зубы, поэтому каждое слово, которое срывалось у него с языка, сопровождалось режущим глаза сверком, зубы лупили светом, как прожектора, и от них хотелось прикрыться ладонью.

Брал он много – хапал столько, сколько вмещалось в руке, ему платили все: владельцы цирковых балаганов и главные режиссеры театров, хозяева ресторанов и актрисы, барыги, собирающиеся начать свое дело, и палаточники, торгующие рыбой и гвоздями; его боялись все: а вдруг этот страшный человек раздолбает в очередной статье их заведение?!

Владельцы банков Ванечку тоже боялись.

– Не подмастите, – говорил он им, – буду гавкать. Ох как буду гавкать!

Промышленные предприятия Манасевич-Мануйлов не трогал – опасался слесарей и прочего рабочего люда: отделать могут так, что родная мать не узнает.

При всем том он демонстративно подчеркивал, что до сих пор продолжает служить в штате охраны, и это была еще одна причина, по которой боялись Манасевича-Мануйлова. Боялись на всякий случай: а вдруг посадит?

На Распутина Манасевич-Мануйлов наткнулся только благодаря собственной лени: лень было искать материал для очередной статьи, лень было ехать куда-то, лень было суетиться, как это делают другие журналисты, и он взял то, что находилось под рукой, – Распутина.

Тогда считалось: о Распутине не пишет только ленивый. Вот ленивый о нем действительно не писал, это был Манасевич-Мануйлов. Поразмыслив немного, братья за Распутина или не братья, Ванечка почесал пальцами затылок и махнул рукой: «А-а, пусть будет Распу-

тин. На безрыбье и рак рыба». И написал про «старца». Да так лихо написал, что Распутин, прочитав сочинение неизвестной Маски – Манасевич-Мануйлов подписывал свои материалы именно этим псевдонимом, – чуть было не заплакал от обиды.

«Ну чего плохого я той Маске сделал, а? Скажите, люди?» Немного отойдя от обиды, «старец» начал наводить справки: кто таков этот автор? Что за Маска? В конце концов узнал: Маска – это Манасевич-Мануйлов.

Попив чаю и хлебнув для смелости мадеры, Распутин сел на извозчика и покатил в Эртелев переулок к дому номер одиннадцать, где располагалась редакция «Вечернего времени» и где у Манасевича-Мануйлова имелась своя комнатенка, заваленная старыми газетами и журналами, пропахшая пылью, мышами, коньяком, капустой и лекарствами. Иван Федорович гордо называл свою рабочую комнатенку «кибинетом». В «кибинете» стояла солидная машинка с расплзающимся во все стороны шрифтом «Ундервуд», а на приставном крохотном столике – давно не мытый графин с двумя такими же давно не мытыми стаканами.

Распутин вошел в кабинет, как обычно привык входить в подобные кабинеты – без стука, решительно, подогревая себя мыслью, что за его спиной стоят великие люди, в случае если кто-нибудь вздумает его обидеть, в обиду не дадут и из любой ямы вытащат, да и в кабинете мог сидеть пустячный человек, обычный нуль. Дальше произошло вот что.

Манасевич-Мануйлов строго взглянул на Распутина, быстро сообразил, с кем ему сейчас придется иметь дело, и спросил напористо, на «ты», свинцом прокатывая во рту слова:

– Почему без стука ворвался, а?

«Старец», мигом оробев, неопределенно приподнял плечи, покосился светлыми печальными глазами на кипу пыльных газет, сложенных в углу.

– Кто такой? – вновь резко спросил, будто прогавкал, Манасевич-Мануйлов.

– Распутин я, – вздохнул «старец», – а по паспорту буду – Новых.

Недавно он попросил Николая, чтобы тот позволил ему сменить фамилию.

– Чего так? – спросил Николай. – Чем старая фамилия не нравится?

– Да незвучная она. – «Старец» скривил губы. – Ничего в ней хорошего нет.

– Меняй! – разрешил царь.

«Старец» пошел в полицейский участок и выправил себе новый паспорт. На фамилию Новых.

Общение Распутина с журналистом Ванечкой было коротким, «старец» даже понять не успел, что с ним произошло, не говоря уже о словесных объяснениях. Манасевич-Мануйлов, проворно поднявшись из-за стола, лихо развернул Распутина носом к двери и нанес ему удар кулаком в центр затылка.

Все-таки он кое-чему в полицейском департаменте научился, для работы в Париже его готовили специалисты не самые худшие, навыки, полученные им, выручали его не раз. Пригодились они и сегодня.

«Старец» охнул, звонко стукнулся коленками об пол и оказался на четвереньках, а еще через миг сокрушающий удар ногой по «пятой точке» придал ему нужную скорость, и «старец» с грохотом вынесся в коридор.

Манасевич-Мануйлов («старец» иногда потом ошибался и звал его «Манасевичем с Мануйловым», будто двух человек) отряхнул ладони и спокойно продолжал свою работу.

Из соседних комнат выскочили сотрудники.

– Ванечка, что за грохот?

– Так, – спокойно ответил «Манасевич с Мануйловым», – приходил тут один, условиями нашего труда интересовался.

– Издатель?

– Издатель, – с веселым хмыканьем подтвердил журналист. – Широкого профиля, всем интересовался – от плоской газетной печати и нашей политики в Месопотамии до производства граблей и выращивания тюльпанов в навозе.

– Познакомил бы!

– В следующий раз. Он еще обязательно появится.

Ванечка как в воду глядел.

Распутин, кряхтя, почесывая ушибленный зад, пошел в ближайшую пивную опрокинуть пару кружек светлого пенистого напитка с солеными сушками, а заодно обмозговать происшедшее. Главной его мыслью было: как бы наведаться к Манасевичу-Мануйлову еще раз?

– Не то ведь как – не окоротишь его сейчас, он гавкать будет до скончания века, – бормотал он глухо, с трудом разгрызая порченными зубами крепкие соленые сушки. – Надо прикормить его. Либо убить. С собакой нужно поступать по-собачьи. Другого пути нет.

На следующий день в «Вечернем времени» вышла новая хлесткая статья о Распутине, подписанная Ванечкиным псевдонимом «Маска», и Распутин взвыл от негодования и боли:

– Доколе ж это будет, а?

Вспомнил о том, что вчера ему приходила в голову мысль: «А не прикончить ли этого “Манасевича с Мануйловым”»? Гавкающую собаку надо обязательно заставить умолкнуть, накормить ее либо перешибить хребет зарядом дроби...» Накормить Манасевича-Мануйлова «старец» не мог, а насчет убить... Лицо у него сделалось серым, борода затряслась, он забормотал подавленно:

– Слаб человек, очень слаб! Не могу я укокошить Манасевича с Мануйловым, придется снова идтить к нему на поклон. Водки вместе выпить... Ну чего он все время плюется в мою сторону? – Распутин скуксился плаксиво, борода его полезла в сторону. – Чем я ему так мешаю? Перебежал ли где дорогу, бабу ль где отбил, деньгу перешиб ли – что произошло? Почему он на меня гавкает?

Распутин чуть не заплакал. Держа перед глазами газету, снова от строчки до строчки, с первой буквы до последней, спотыкаясь на словах и потея от натуги, прочитал, что о нем сочинил творец под псевдонимом Маска, хлюпнул носом – этот стервец умел больно цеплять. Выругался смачно:

– С-сука!

Надел на себя лучшие штаны и рубаху, на ноги натянул новые козловые сапоги – чтобы обувь не воняла жиром и дубьем, сапоги обработали так, что они стали теперь пахнуть жареными подсолнухами, – взял палку и шляпу и пошел искать по Питеру Манасевича-Мануйлова.

Заявиться к нему на работу, как в прошлый раз, Распутин не рискнул – был уверен, что общение с Маской в официальной обстановке мало чем будет отличаться от того, что уже было, – Ванечка скрутит ему руки и вновь врежет под зад коленом, поэтому он решил искать журналиста в дешевых забегаловках.

Он нашел «Манасевича с Мануйловым» в распивочной на Садовой улице – тот потягивал из графинчика холодную водку и закусывал ее осетриной, накладывая на каждый кусок рыбы толстую охалку хрена. Распутин поморщился: от такого количества хрена у него даже заломило зубы. В Сибири, например, хрен так безудержно не едят, некоторые тамошние гурманы вообще не знают, что это такое, а здесь, в Рассе, на какой стол ни глянь – всюду стоят глиняные бадейки с хреном.

Взяв себе пива, Гришка, зажмурив глаза, смело уселся за столик Манасевича-Мануйлова. Поерзал костистым задом, словно бы проверял, крепок ли стул, отпил из кружки немного пива и только потом спросил:

– Можно?

– Валяй! – разрешил Манасевич-Мануйлов, проглатывая очередной кусище осетра, рыбу он почти не разжевывал, проглатывал целиком, вместе с хреном.

Распутин снова деликатно пригубил пива, раздумывая, с чего бы начать разговор. Проблеял нерешительно:

– Я это...

– Что-о? – Ванечка Манасевич-Мануйлов проглотил очередной кусок осетрины, выхлебал из графина немного водки, поболтал ею во рту, взял в руку вилку, угрожающе выставил ее перед собой.

– Извините, ради бога! – смятенно пробормотал Распутин, глаза его расширились от испуга. – Не хотел, не хотел...

– Смотри у меня, – Ванечка погрозил «старцу» вилкой, – не то живо в задницу всажу.

Распутин поперхнулся пивом и поспешно отодвинулся от этого страшного человека.

Выбрав кусок осетрины потолще и поаппетитнее, Ванечка насадил его на вилку. Распутин подавленно молчал. Так и шла их «беседа».

Наконец «старец» собрался с духом, вытащил из кармана пачку денег.

– Я это...

«Манасевич с Мануйловым» заинтересованно посмотрел на него, одобрительно кивнул.

– Это другой разговор! – сказал он.

Денег у Ванечки никогда не хватало, несмотря на то что он получал гонорары и в «Новом времени» и в «Вечернем», обслуживая по очереди то одно издание, то другое, последние месяцы ему начало подкидывать немного денег ведомство Степана Петровича Белецкого, плюс перепало от разных артисточек – под положительные рецензии, – и все равно денег не хватало.

Виной всему была любовница – также из артистического мира, по фамилии Лерма, съела она денег неимоверно много, и Ванечка очень страдал, когда не мог достать их. Если у Ванечки не было денег, Лерма немедленно покидала его и перемещалась в постель одного из питерских жокеев, который, вполне возможно, участвовал сейчас в заездах, и сурово выговаривала оттуда Ванечке, что, пока у него «финансы не перестанут петь романсы», она не вернется. Ванечка от горя и мук ревности лез у себя в «кибинете» на стены. За деньги он был готов продать что угодно, не только Родину – готов был даже выкопать в Сибири останки своего отца, Тодеса Манасевича, и преподнести в кулечке покупателю в обмен на пару банкнот.

Деньги, деньги, деньги! Они всегда были (и остаются) движущей силой общества, с годами ничего не меняется.

– А если я дам вам денег, вы не будете больше меня пропесочивать? – уважительно, на «вы», с дрожью в голосе спросил Распутин.

– У тебя столько денег не найдется, – небрежно бросил Ванечка.

– Я буду стараться.

– Давай деньги, там подумаем!

Распутин, поковырявшись в кармане, вытащил еще одну пачку денег, положил на стол.

– Вот!

Ванечка прикинул опытным глазом: денег было много, тысячи полторы. Значит, Распутин здорово припекся к сковороде, поджариваемый со всех сторон статьями Ванечки Мануйлова. Судя по глазам, в которых завспыхивали колдовские огоньки, «старец» жаден и копейку выдавить из него невозможно, а тут растается с гигантской суммой, на которую запросто можно купить дом, участок земли и стадо коров, чтобы не быть голодным.

– Мало! – Ванечка недовольно шевельнул атласными бровями.

Хотя денег было много. Даже в лучшие времена, когда он сидел в Париже и вольготно распоряжался подотчетными суммами – что хотел, то с ними и делал, – у него и то не всегда бывало столько на руках.

– Да ты что?! – Распутин не удержался, взвыл. Манасевич-Мануйлов, не глядя на «старца», отпил из графинчика водки, побулькал во рту.

– Раз сказал, мало – значит, мало.

Распутин поковырялся в кармане, достал третью пачку денег и, похлопав носом от жалости к самому себе, положил рядом с первыми двумя.

– Это все. Я даже на пиво себе ничего не оставил!

– Пиво я тебе куплю, – сказал Ванечка, – но впредь знай, дядя: слово в России ценится дорого. А ты жмешься, как кухарка в руках извозчика.

– Вот рыбий потрох! – горестно и одновременно восхищенно пробормотал Распутин. – Подметки режет на ходу и не морщится! – Он взял кружку с пивом и залпом выпил ее до дна, поставил рядом с первой, уже пустой, и не заметил в волнении, как она опустела...

Выпрямившись над тарелкой с осетриной, Манасевич-Мануйлов звонко пощелкал пальцами:

– Человек!

Подскочил половой с напмаженной, блестящей от репейного масла головой, согнулся в поклоне:

– Чего изволите?

– Кружку пива за мой счет. Ему вот. – Ванечка потыкал сальным от осетрового жира пальцем в Распутина. Подумав, облизал палец, глянул колко на «старца» и проговорил нехотя, словно бы для самого себя: – Ладно!

– По рукам, значит? – обрадовался Распутин. Манасевич-Мануйлов усмехнулся, глаза у него сделались далекими, жадными, и он, ничего не ответив, снова принялся за осетрину.

– Так как же? По рукам? – настаивал «старец». В это время появился половой с кружкой пива. Ванечка приказал ему:

– Принеси еще одну кружку. Больно уж жадный старичок мне попался. – Он вновь потыкал пальцем в Распутина. Глаза у полового расширились, сделались огромными, как два блюда; он увидел на столе рядом с пивной лужей две пачки денег. Столько денег он не видел еще никогда. Судорожно покивав головой, он пробормотал, что сейчас доставит еще одну кружку хмельной влаги, глаза его не отрывались от денег. Манасевич-Мануйлов это заметил, привычно ухмыльнулся.

В следующий миг деньги исчезли со стола. Половой вылупил глаза еще больше, они у него чуть не вывалились из орбит. Колдовство какое-то, цирковой фокус: только что лежали деньги на столе, никто к ним не прикасался – они были, были, были, – и вдруг их не стало! Пивная лужица преспокойно стынет на столе, она как была, так и есть, а денег нет. Половой изумленно протер кулаками глаза.

Ванечка был доволен. Он умел делать и не такое. Ткнул полового кулаком в бок:

– Марш за пивом!

– Значит, по рукам! – обрадовался Распутин, увидев, что деньги исчезли, – он тоже не заметил, как они перекочевали в Ванечкин карман.

– Посмотрим, – неопределенно проговорил Манасевич-Мануйлов.

Назавтра в «Вечернем времени» вновь вышла разгромная статья о Распутине: Манасевич ведь не обещал, что больше не будет писать о «старце»? Не обещал. Тогда какие к нему претензии?

Григорий Ефимович от обиды даже катался по полу, но ничего поделывать не мог. Зато в следующей статье Манасевич-Мануйлов уже похвалил его. Так он вел себя до конца дней своих – то ругал, то хвалил «старца», то появлялся в его обществе, то исчезал. Он «доил» Распутина, как корову, и на его деньги содержал неверную Лерму, вот ведь как.

Станный человек был Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Недаром о нем была написана книга «Русский Рокамболь».

Много других «странных», скажем так, людей окружало Распутина в его петербургской жизни, но эти четверо были, пожалуй, главными и сопровождали «старца» до самой смерти.

Свирицкий был слабым жокеем – у Распутина создалось впечатление, что он теряется во время бега, прямо на дорожке, нервный, умный Чардаш перестал понимать его, и Распутин хитро усмехнулся; деньги его пропадали, он проигрывал, но означал ли его проигрыш на самом деле потерю – вот вопрос! Распутин покосился на Лебедеву, которая увлеченно следила за забегом, сунул в рот черную прядь бороды, пожевал ее.

Скачки не интересовали Распутина. Свирицкий в конце концов сообразил, что не надо управлять Чардашом и дергать его, надо дать ему волю – конь сам вынесет, и Чардаш почувствовал, чего хочет наездник, напрягся, вытянулся в струну. Распутин недовольно сощурился. Из-под копыт Чардаша полетел песок. Он несся над землей, потный, горячий, капризный, довольный тем, что человек поверил ему, – Свирицкого он не знал, как Свирицкий не знал Чардаша, – слышал далекую музыку, доносящуюся невесть откуда, прижимая к голове уши.

Вот жеребец дотянулся до Принца – белого тонконового коня, сравнялся с ним и через четыре секунды ушел вперед, доставать Корону – резвую кобылу с коротко, на немецкий манер, подрезанным хвостом.

– Что Свирицкий-то делает, смотрите! – воскликнула Лебедева, не отнимая от глаз маленького перламутрового бинокля, прикрепленного к золоченому держателю.

– Это не... этот самый, не Свирицкий, – недовольно проговорил Распутин, – это конь.

Лебедева не отозвалась, она, похоже, не слышала Распутина, восхищенно следила в бинокль за жокеем. Не выдержав, прищелкнула пальцами.

– Азартная, однако, дамочка, – едва слышно хмыкнул Распутин, отвел глаза в сторону: а вдруг она услышала его? У этих женщин слух как у кошек – слышат то, что нормальный человек никогда не услышит. Но Лебедева, кажется, его не слышала.

В висках у Распутина возникло что-то тягучее, сладкое, он сглотнул слюну и, не в силах бороться с собою, кинул в рот несколько подсолнуховых семечек.

– Ваш Чардаш выигрывает, Григорий Ефимович! – воскликнула Лебедева.

Это Распутин видел и без Лебедевой: Чардаш вошел в азарт, забыл о наезднике – главное для Чардаша было сейчас обойти соперников, и чем больше он вырывался вперед, тем мрачнее становилось лицо Распутина.

Чардаш первым пересек линию финиша, у которой стояло два жокея в красных шерстяных кепках.

– Что с вами, Григорий Ефимович? – забеспокоилась Лебедева, сдвинула рукоять бинокля, которая собиралась, словно подзорная труба. – На вас лица нет! Вы же выиграли.

– То-то и плохо, – отозвался Распутин. – Не люблю выигрывать.

– Почему-у? – удивилась Лебедева.

– Плохая примета! Выиграешь рубль – потеряешь на четвертной. Такое уже было! – Распутин расстроился не на шутку, и это еще более обеспокоило Лебедеву, она притронулась к рукаву распутинской рубахи:

– Григорий Ефимович, родненький, а вы поставьте выигрыш еще раз в оборот... на другую лошадь – и проиграйте его!

– Так и сделаю! – твердо решил Распутин и все деньги, которые отсчитала ему касса, поставил на самую захудалую лошадь третьего заезда – стареющую серую Монахиню, кобылу смешанной полускаковой породы. Он решил твердо проиграть, чтобы не оставалось ни одного шанса, ни одного двугривенного, способного прожечь ему карман, – Распутин боялся этих денег, что-то подсказывало ему: в них таится опасность!

– Григорий Ефимович, не кукуйтесь, – попросила Лебедева, – все будет в порядке!

– А что такое – в порядке?

– Ну как хотите вы, так оно и будет.

– Посмотрим, посмотрим!

– Расскажите что-нибудь. Про папу, например. Расстроенный Распутин не стал в этот раз скрывать, кто такой папа.

– У царя я человек свой. – Он даже не заметил, что произнес слово «царь», никак не зашифровывая его. – Вхожу без доклада. Стукотну, вот и все! Когда мне надо, тогда и делаю это. А случается, день-два не объявлюсь – телефон надрывается, голосит, словно больной ребенок: Григория Ефимовича дожидаются во дворце. Вроде я у них как примета. Все меня уважают. И царица хороша, она вообще баба ничего...

– Разве можно так о царице? – испуганно прошептала Лебедева.

– Можно, – кивнула старуха Головина.

– При всех?

– Можно и при всех. Греха в этом особого не вижу. Если человек хорош, то он хорош.

Чего таиться-то?

– Нельзя, Григорий Ефимович!

– Можно! И царенок хорош. И все они – и царь, и царица, и царенок – все ко мне. Слыхала небось про то?

– Да.

– Я один только могу с Алексея Николаича боль снимать. – Распутин назвал наследника по имени-отчеству. – Только я. Один, больше никто. А царенок очень больной, совсем болезненный, мне жаль его, мается. Кровь у него порченная, ноги, нутро... Колдуны сглазили.

– Какие колдуны?

– Да есть такие, – неопределенно ответил Распутин, – водятся. Вот брат царев, Николай Николаевич, он меня не любит, очень не любит. Как волк. Волк человека не любит, а он меня. Один раз я, значит, приехал – и прямо к царю, дверь раскрываю, а Николай Николаевич, великий князь, там, у царя, значит, находится. По делам своим. На меня зверем смотрит. А я что? Я ничего. Мне все ничего, злобы к нему я не питаю. Сидит он, а меня увидел – сразу на ноги встал и уходить собрался. Я ему говорю: посиди, время раннее, чего уходить-то? А он, значит, царя соблазняет, все на Германию его наговаривает. – Распутин достал из кармана семечек, швырнул несколько штук в рот – он перестал стесняться Лебедеву.

Помолчал.

– А дальше что? – спросила Головина.

– На Германию, значит, папашу подначивает, соблазняет легкой добычей, а я говорю: рано нападать на Германию и незачем. Вот когда корабликов понастроим, усилимся, тогда и нападать можно будет. И воевать можно будет, а сейчас не надо, сейчас рано. Николай Николаевич, значит, рассерчал, кулаком ударил по столу и кричать начал. А я ему: кричать-то зачем? Чего воздуха сотрясать-то впустую? Тогда он совсем обозлился и вопрос царю ребром: выгони, говорит, Распутина, чего он тут делает? – Распутин снова швырнул в рот несколько крупных подсолнуховых семечек, кожуру сплюнул под ноги.

– Интересно, – тихо произнесла Лебедева, наблюдая в бинокль за вторым заездом.

– Это если со стороны, как сейчас, то интересно, а вот тогда, в кабинете у царя, – мурашки по коже бегут. Хорошо, царь у нас добрый, мягкий, характер имеет терпеливый. А если бы он имел характер того же Николая Николаевича, а? – Не услышав ответа, Распутин кивнул сам себе: – То-то и оно. Ты, говорит Николай Николаевич царю, выгони Распутина, мы с ним о государстве разговаривать не будем. А я царю объясняю, что я правду знаю и все наперед скажу и что ежели негоже Николаю Николаевичу со мной в одной комнате находиться, то пусть он сам и уходит, Христос, дескать, с ним. Николай Николаевич затопал на меня ногами и исчез. Дверью хлопбыстнул так, что чуть косяки не повывлетали. Стекла задзенькали¹.

¹ Рассказ об этом случае найден в бумагах члена Государственной думы В.М. Пуришкевича.

Начался третий заезд, в котором участвовала пара первоклассных кобыл, затмивших своей статью вялую, усталую Монахию.

– А эту колбасу зачем в заезд поставили? – услышал Распутин недовольный возглас: по поводу Монахины прошелся щеголеватый господин в соломенной шляпе, украшенной красной искристой лентой.

Распутин довольно кивнул.

– Совсем господа из конторы ипподрома стыд потеряли, – продолжал господин в шляпе, – консервы бегать заставляют.

Но Монахиня так резво начала с места, что господин в шляпе даже привстал – ее рывок был как у снаряда, Монахиня бежала так, будто бежала в последний раз, и этот рывок старой лошади вызвал у Распутина приступ щемящей, почти детской обиды, тоски. Он тоже, как и господин в шляпе, привстал, покрутил головой и, чувствуя, что не хватает воздуха, со свистом втянул его в себя, неверяще покачал головой.

Он не верил, что дряхлая, со скрипучими костями кобыла придет первой, а раз не придет, то и деньги, которых он не желал, не будут проедать дырку в кармане. Впрочем, деньги-то пусть будут – Распутин не желал выигрыша, заранее боялся его, чувствуя в нем подвох. Успокоенно сел, кинул в рот несколько семечек: нет, не может старая кляча обхитрить, обойти молодых, здоровых кобыл. В жизни так не бывает.

Громко засмеялся, покрутил головой.

– А Феликс-то, Феликс... – смеясь, произнес он и замолчал.

– Что «Феликс»? – осторожно спросила Лебедева.

– Феликс Юсупов, который князь и граф одновременно <см. *Комментарии*, Стр. 52... князь и граф одновременно >, сказал, что такое лицо, как у меня, может появляться раз в тысячу лет.

Действительно, князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, объясняя колдовскую, посильнее гипноза, силу, с которой Распутин действовал на царицу, а через царицу действовал и на царя, – не раз вслух высказывал в обществе следующее: «Лицо с такой магнетической силой, как у Распутина, появляется раз в тысячу лет».

И те, кто знал механизм, который Распутин в случае чего мог приводить в действие, пружины, колеса и мощную силу его, принимали заявление Распутина насчет того, что Россия не станет воевать с Германией, всерьез. Даже если страны Антанты, с которыми Россию связывал союзнический договор, Франция и Англия, призовут Россию к выполнению этого долга, русский медведь все равно не сдвинется с места – Распутин не даст царю принять такое решение. И как бы Россия ни была завязана на французский и английский капиталы, на технику, поступающую оттуда, на долговые расписки и джентльменские обязательства, она не станет воевать, и Англия с Францией ничем не смогут ее наказать, вот ведь как – Россию наказывать бесполезно.

Вряд ли просвещенные политики Запада знали о том, что в России есть неграмотный куражливый любитель лаковых сапог, который может так сильно влиять на политику, а он был, Распутин, и не считаться с ним было нельзя. Первыми это поняли французы, посол этой страны, знаменитый потомок византийской аристократической фамилии, из которой вышло несколько императоров, блестящий интеллектual Морис Палеолог <см. *Комментарии*, Стр. 53. *Палеолог Морис...*> посвятил Распутину в своей книге целую главу.

Надо заметить, что Россия в четырнадцатом году имела самую большую в мире сухопутную армию, и президент Франции Пуанкаре <см. *Комментарии*, Стр. 53. *Пуанкаре Раймон...*>, личным другом которого являлся Палеолог, делал все, чтобы к Франции вернулись территории, отнятые у нее в 1870 году Германией, – Эльзас и Лотарингия. Но без войны, мирным путем отнять эти земли он не мог и войну начинать без России он тоже не мог.

Монахиня пронеслась мимо трибун так резво, что сидящих обдало тугим, попахивающим конским потом ветром, а с какой-то чересчур восторженной дамочки сорвало платок. Старая кобыла не позволила себя обогнать, она выложилась в скачке целиком, снарядом пересекла финишную черту и, когда жокей Новиков, окорачивая ее, попробовал поднять на дыбы, зашаталась и от усталости чуть не рухнула на землю.

– Вот старая кляча! – выругался Распутин.

– Вы чего, Григорий Ефимович? – обеспокоилась Лебедева.

– Есть еще в России колбаса, – громко сказал Распутин, – ему захотелось, чтобы его услышал господин в соломенной шляпе, – не всю еще съели. И матерьял для консервов имеется.

– Будете играть снова?

– Нет, не буду, – твердо произнес Распутин, – но и выигранные деньги брать не хочется.

– Так не берите.

– А что это изменит? Дело не в деньгах, а в самом выигрыше, в факте, в том, что два раза подряд на мою долю выпал выигрыш. А к чему он мне? – Распутин поднял плечи и развел руками. – Плохо это!

Распутин встал и начал пробираться к выходу. Лебедева, подобрав длинную шелковую юбку, пошла следом. С неохотой поднялась и старуха Головина

– Это так же плохо, как кошка, перебегающая дорогу, – сказал Распутин, первым сядя в автомобиль. – Тьфу!

Газета «Биржевые ведомости» на следующий день дала сообщение, что Распутин с тремя дамами посетил ипподром, – репортер, который опубликовал новость, увеличил распутинское окружение на одно лицо.

Деньги из кассы ипподрома «старец» все-таки забрал – не в них было дело, да потом Распутин, как всякий русский мужик, умел считать и справедливо полагал, что без копейки не бывает рубля.

Епископ Феофан стал первым покровителем Распутина в Петербурге – неказистый сибирский мужичок, пешком пришедший в столицу, обладал образной речью, умел складно и занятно мыслить – голова на плечах у него, судя по всему, имелась, и хватка была хорошая, и епископ, человек увлекающийся, доверчивый, решил поддержать Распутина – ему не хотелось, чтобы Распутин растворился и исчез в блестящем Санкт-Петербурге, как тысячи других приезжих: всякая столица обладает способностью съедать людей.

На периферии, где-нибудь в губернии, человек почти всегда бывает замечен, он на виду, а приехав в столицу, исчезает, будто пористая таблетка в стакане с водой, – остаются лишь пузыри, муть, и больше ничего. Сколько таких людей исчезло – не перечесть.

Но Распутин не потерялся. Более того – он стал своим человеком в царской семье. И наследнику мог помогать только он, больше никто. Рос Алексей настолько хворым и слабым, что часто не мог спать, – не хватало сил даже на сон, – стонал. Врачи только разводили руками, расписываясь в собственной слабости. А вот Распутин в слабости не расписывался, он научился снимать у наследника боль даже по телефону. Точно так же по телефону он насылал на него сон.

Однажды Распутин позвонил во дворец и сказал, чтобы царевича ни в коем случае не пускали в залу, где тот любил проводить время. Над предупреждением Распутина посмеялись, но тем не менее царевича в залу не пустили. Через час после звонка в зале сорвалась с крюка и рухнула на пол многопудовая люстра, проломил паркет и изрыбила стены крошкой.

После этого члены царской семьи, особенно Александра Федоровна, поверили в ясновидение Распутина. «Старец» обладал гипнотическими способностями, имел крепкую волю и хорошие мужицкие мозги, был экстрасенсом – вне всякого сомнения – но ни в коем разе не являл собой нечто сверхъестественное. Он был обычным, хитрым, крепким, жилистым чалдо-

ном – сибирским мужиком, выходцем из религиозной секты хлыстов <см. *Комментарии, Стр. 55...секты хлыстов*>. Хлысты – особая категория сектантов, считавшая, что в каждого из них поселена душа Христа и поэтому всякий хлыст – это Христос, сошедший на землю, способный отпустить грехи и облегчать страдания, значит, все, что ни будет делать хлыст, освящено самим Христом.

В архивах сохранились донесения так называемых «гороховых пальто», филеров, ведущих наружное наблюдение. Звали филеров «гороховыми пальто» за казенную одежду, а может, и за то, что полицейское управление находилось на Гороховой улице, недалеко от дома Распутина, – за одинаковые сюртуки, пальто и котелки, которые поставляли им, как военную форму, по реестру. Надо заметить, что летучий филерский отряд, подчинявшийся непосредственно жандармскому управлению, был одним из самых сильных в Европе: филеры работали уверенно, четко и редко упустили человека, за которым наблюдали.

Каждый филерский наряд состоял из трех человек – извозчика, имевшего пролетку с сильной, хорошо накормленной лошадей, и двух топтунов – пеших сыщиков. Работали в две смены – утреннюю и вечернюю, но, судя по наблюдению за Распутиным, иногда прихватывали и ночную – он не раз засиживался в гостях до четырех-пяти часов утра.

Разработки велись подробно, с пристрастием, хотя инструкций о том, как работал летучий филерский отряд, не сохранилось – сгорели с большей частью архива Департамента полиции.

С ипподрома Распутин отбыл расстроенный. Лебедева вначале ехала с ним в одном экипаже, потом пересела на извозчика с куцей, на двух пассажиров, тележкой. Рядом с ней привычно пристроилась Агриппина Федоровна. Лебедева довезла Агриппину до дома, побывала у нее минут пять, потом остановила мотор – красный, с латунным радиатором «руссо-балт» – и на нем поехала к себе.

Распутин прибыл домой один, раздраженный, усталый, с красными пятнами, ярко рдеющими у него на лице. Оттолкнул оказавшуюся на дороге Ангелину Лапшинскую – плотную женщину с пухлым простоватым лицом, работавшую у него секретарем, – иногда Распутин держал у себя двух секретарей, но сейчас обходился одной Лапшинской, – спросил уже из своей комнаты:

– Кто мне телефонировал?

Ангелина достала из кармана маленький дамский блокнотик, перечислила телефонные звонки.

– А-а, пустота все! – Распутин грохнул об пол вначале один сапог, потом другой. – Пыль, дырки от бубликов!

В комнату он вышел босиком, остановился на прохладном паркете, пошевелил пальцами.

– И какой черт выдумал обувь? – пробормотал он недовольно. – Ходили ведь люди когда-то босиком, в то еще время, до Христа и раньше, и ходили бы себе, а нет – сапоги научились шить!

– Вас тут странные люди спрашивали, Григорий Ефимович, – сказала Лапшинская. – В доме появлялись!

– Ко мне все в дом ходят. А почему странные? Что за народ?

По лицу Лапшинской проскользнула тень, в глазах возникло что-то боязливое, чужое, она, затрудняясь ответить, по-девчоночьи потеревала оборки на кофте – видно, что никогда раньше не видела таких людей, хотя Ангелина Лапшинская была человеком нетрусливым, воевала в японскую, была сестрой милосердия в Порт-Артуре и в Маньчжурии.

– Двенадцать человек пришли, женщины, все в черном, а главное... – Лапшинская замялась.

– Ну и чего?

- Все безносые.
- Чего хотели?
- Вас требовали.
- Нищенки? Надо было дать денег и вытолкнуть в зашей.
- Деньги я предлагала.
- И что же?
- Отказались!
- Ну-у, – не поверил Распутин и, поплевав себе на пальцы, расчесал волосы на две половины, безошибочно определяя пробор, – пробор разделил голову ровно пополам, будто по линейке. – И впрямь отказались?
- Отказались!
- А чего хотели эти твои... безносые? – Распутин поморщился.
- Хотели повидаться с вами!
- Худых мыслей у них не было? – Распутин насторожился, вытянул голову, словно бы к чему-то прислушиваясь.
- Не знаю... Вроде бы нет.
- Чужая душа – потемки!
- Что делать, если появятся снова?
- А кликни меня! Поговорю, узнаю, чем дышат безносые бабы! Сроду таких не видел.
- Я бы не советовала, Григорий Ефимович, встречаться с ними. Не нравятся они мне.
- Заметила, что ль, что или... А?
- Да вроде бы ничего подозрительного... Но сами знаете: береженого Бог бережет!
- Придут – зови, – решительно сказал Распутин, – поговорю. Вечером уеду. К госпоже Лебедевой. На чай. А сейчас пойду спать. Если звонки по телефону будут – не буди. Только в самом крайнем случае. Ну, если Сазонов² позвонит... – Он усмехнулся, зная, что Сазонов вряд ли ему позвонит, Сазонов – ягода совсем другого поля. – А так – не буди! А чего эти побирушки денег не взяли? По гривеннику каждой в лапу, и – ауфвидерзейн! Не взяли, говоришь?
- Отказались!
- Пхих! – рассмеялся Распутин, подпрыгивая на полу, звонко опечатал босыми ногами паркет и ушел к себе в спальню. Потом выглянул из нее: – Матреша не появлялась?
- Нет.

Матрена – старшая дочь Распутина – училась в аристократической гимназии и посещала Институт благородных девиц. Сын Митька и младшая дочь Варвара вместе с матерью жили в Покровском. По поводу Матрешы Распутину недавно пришлось выдержать целый скандал. Ему страсть как хотелось, чтобы Матреша вращалась в высшем свете, среди образованных, нежных барынек, – в конце концов Матреша и сама такой же барынькой станет, но не тут-то было: попечительница гимназии, в которую Распутин собирался устроить дочь, заявила, что она сразу же хлопнет дверью, как только задастая и щекастая Матрена переступит порог гимназии.

Один высокий чин посоветовал попечительнице не задираться – смириться с распутинским желанием: есть люди повыше ее, они и будут отвечать, на что попечительница заметила не по-женски резко:

- Тогда я хлопну дверью еще сильнее!

Матрене был интересен праздный летний Петербург – в доме ей было скучно и тесно, а город, обдуваемый влажным морским ветром, с серыми каменными мостовыми и строгими зданиями, построенными великими архитекторами, был для нее как праздник.

Отец одобрял увлечение дочери:

² С.П. Сазонов – министр иностранных дел России.

– Правильно, Матреш! Держи в этом направлении – покоришь город и многих красавиц заткнешь за пояс! Молодец!

И Матреша старалась.

Проспав два часа, Распутин снова вышел босым в зал, отодвинув портьеру, посмотрел на желтое глубокое небо – день догорал спокойно, свечной оттенок делал небо совсем домашним, низким – оно словно бы дорогой тканью было обтянуто, зевнул и перекрестил зевок шепотью.

– Ну что ж, благословясь! – Он подумал о Лебедевой, и скулы у него вспыхнули молодо. – Поеду поговорить о большой политике!

Через двадцать минут подъехал открытый автомобиль, за рулем которого сидел кряжистый усатый человек в высоких, до локтей, кожаных крагах и стеганой, на манер крестьянской душегрейки, кожаной куртке. Усатый шофер неторопливо нажал на резиновую грушу клаксона. От резкого звука воробьи шумной картечью пальнули в воздух и растворились в желтом небе.

– Кушать подано! – воскликнул Распутин, прихорашиваясь перед зеркалом.

Громко, неожиданно настырно зазвонил телефон. Распутин поморщился.

– А ведь опять писаки! – воскликнул он.

Угадал Распутин – недаром обладал колдовской силой: звонил действительно «писака» – корреспондент газеты «Вечернее время». Распутин заколебался – подходить к телефону или нет, с досадою крякнул, поскольку раз и навсегда усвоил правило – с корреспондентами ссориться опасно. Даже короли стараются с ними не ссориться, иначе писака такого нарисует в своей газете, такого... А уж простому человеку с газетной братией и вовсе не следует ссориться. Распутин махнул рукой и подошел к телефону, взял в одну руку круглый эбонитовый наушник, рожок трубки приставил к бороде – телефон в доме был старомодный, немецкий, теперь такие уже не выпускались.

– Ну!

Корреспондент на той стороне провода что-то начал объяснять, лицо Распутина обузилось, потемнело – недаром в последующих полицейских разработках он проходил под кличкой Темный. Распутин нервно сунул в рот кусок бороды, пожевал. Лапшинская могла только догадываться, что говорил Распутину корреспондент «Вечерки», – Распутин молчал. Но лицо его было очень красноречиво.

– А чего от меня хотят, чего? – наконец проговорил Распутин, нервы его не выдерживали, день сегодня выдался тяжелый, это был не его день, не распутинский, добрые планеты перестали охранять «старца», они уходили от Земли, от него. – Неужели не хотят понять, что я – маленькая мушка и что мне ничего ни от кого не надо. А? – Он задышал трудно, с сипением. Впустую рубанул кулаком воздух, будто молотком. – Мне очень тяжело, что меня не оставляют в покое, все обо мне говорят, словно о большой персоне. Неужели не о чем больше писать и говорить, как обо мне? Я никого не трогаю. Да и трогать не могу, так как не имею силы. Дался я им! Тьфу! Видишь, какой интересный! Каждый шаг мой обсуждают, все перевирают! Видно, кому-то очень нужно меня во что бы то ни стало таскать по свету и зубоскалить. Тьфу! – Распутин сплюнул прямо на паркет, растер мокрую кляксу ногой. – Говорю тебе – никого не трогаю. Дело свое делаю как умею, как понимаю!

Крылья носа у Распутина по-негритянски расширились, глаза вспыхнули – «старец» разволновался.

– Оставьте меня в покое! – потребовал он. – Дайте человеку жить. Все одно и то же: я да я! Говорю тебе, что хочу покоя. Не надо мне хвалы! Не за что меня и хулить! От всего этого я устал. Голова начинает кружиться. Кажется, живу в тиши, а выходит, что кругом все галдят. Кажется, в России есть больше о чем писать, чем обо мне! – Он перешел на скороговорку, начал глотать буквы, съедать слова – Распутин тонул в собственной речи, сделался совсем красным.

Лапшинская подумала: «Не понадобится ли лекарство?»

– И все не могут успокоиться! – кричал «старец». – Бог все видит и рассудит, были ли правы те, кто на меня напал! Говорю тебе, я маленькая мушка, и нечего мною заниматься! Кругом большие дела, а вы все одно и то же: Распутин да Распутин!

«Старец» закашлялся, схватился рукою за грудь, скорчился, хотел швырнуть рожок аппарата на пол, чтобы больше не говорить, Лапшинская метнулась было вперед, подхватить этот рожок, но Распутин снова поднес его ко рту:

– А мне плевать! Пишите! Ответите перед Богом! Он один все видит. Он один все понимает. Он рассудит! Коли нужно – пишите! Я больше ничего говорить не буду! Да нечего говорить-то! Врать можно сколько угодно! Ответ придется держать! Сочиняйте! – Распутин расслабленно махнул рукой: что-то в нем перегорело, спеклось, свечечки в глазах угасли и сам он весь как-то потух, сделался ниже ростом, жилистее. Лапшинской стало жалко его. – Сочиняйте! – повторил Распутин. – Говорю тебе – наплевать! На всех наплевать! Прежде волновался, принимал близко к сердцу, теперь перегорело. Я понял, что к чему и зачем. Говорю тебе – наплевать! Пусть все пишут! Все галдят! Меня не тронут. Я сам знаю, что делаю, и знаю, перед чем отвечаю! Такая, видно, моя судьба! Все перенесу... уже перенес много! – Он перешел на шепот, Лапшинская не верила, что корреспондент, на которого упал этот поток, слышит Распутина, она сама перестала слышать «старца». Но Распутин все говорил, говорил, говорил: – Уже перенес! Говорю тебе, что знаю, перед кем держу ответ. Ничего не боюсь! Пишите сколько в душу влезет. Говорю – наплевать! Прощай!³ – Он обессиленно отшвырнул от себя рожок, тот повис на толстом, оплетенном хлопковой нитью проводе, ударился о стену.

Распутин поглядел на Лапшинскую, хотел что-то сказать, но вместо этого крякнул и бегом понесся к выходу. Лапшинская невозмутимо посмотрела вслед, пристроила брошенный рожок на специальный хромированный крючок, прибитый к стене, поправила бумаги, лежащие на столе, – к походам «старца» она относилась как к чудачеству, которое надо прощать, как к болезни... А болезнями все мы наделены, все ходим под Богом! Подумала лениво: «Как же она выглядит, эта Лебедева? Богатая небось!»

Через тридцать минут в прихожей возникли странные нищенки, которые являлись в прошлый раз, – тихие, безносые, скорбные, с упрямыми глазами. Лапшинская еще в прошлый раз поняла, что хоть и тихие они, но настырные, бедовые, совладать с ними будет трудно. Лица нищенок были закрыты черными платками. Видны были только глаза.

– Нет старца! – глуховато произнесла одна из нищенок, видать, главная, поправила платок.

– Его нет, уехал. Может, вам денег надо?

– Нет, нам нужен Распутин, – упрямо произнесла старшая нищенка.

– А деньги не нужны?

– Не нужны!

– Странно! В первый раз вижу людей, которым не нужны деньги. – В голосе Лапшинской возникли неприязненные нотки.

Нищенка это засекла, повернулась, властным взмахом руки послала свою ораву к двери.

– Мы придем еще! – сказала она на прощанье.

Распутин вернулся домой в середине ночи, довольный, пьяный, с растрепанной бородой, пахнувший вином, в прихожей неожиданно пустился в пляс. Заспанная Лапшинская выглянула из своей комнаты, все разом поняла и улыбнулась: если бы она была мужчиной, то поздравила бы Распутина с победой.

– Те ужасные побирушки приходили снова, – сообщила она.

– Тля! – весело выкрикнул Распутин. – Тли!

³ Этот монолог Распутина – документальный, записан корреспондентом петербургской газеты «Вечернее время» летом 1914 года.

– Страшные очень!

– А-а! – Распутин беспечно топнул ногой. – Чего тлей бояться? – Снова притопнул, поиграл сапогом, выворачивая его на паркете так, что по стенам побежали зайчики. Распутин умел плясать лихо, ему удавалась даже присядка, требующая молодой ловкости, сильных ног и хорошего дыхания, удавались гопак, «яблочко» и «камаринская», Распутин гордился тем, что умел плясать. – Тля и есть тля! Чего ее бояться?

Вдруг он прервал пляску, помрачнел и замер посреди комнаты.

– Чего, Григорий Ефимович?

– Да вот, понимаешь, какое дело. – Распутин мрачно поскреб макушку. – Никогда не выигрывал никаких призов, а тут на тебе, сегодня выиграл на ипподроме. Чует моя душа – неспроста это! Черт меня дернул выиграть на лошадке! В жизнь ни во что не выигрывал. – Он хлопнул длинной рукой по колену, крикнул. – Выходит, быть беде! А какой беде? – Он пытливо, злыми, острыми глазами глянул на Лапшинскую. – С германцем схлестнемся? Или с этим самым... с Пуанкарою поругаемся? А? Иль что-то другое? Но и то, и другое, и третье – плохо! Йй-эх! – Он резко покрутил головой, словно ворот просторной шелковой рубахи давил ему на шею. – В жизнь не выигрывал, а?

– Что делать, Григорий Ефимович?

– Примета плохая. Ой какая плохая примета! – От прежнего Распутина и следа не осталось, посреди комнаты на натертом скользком паркете стоял кривоногий озабоченный взломаченный мужичок, скорбел об ошибках, думал о детях и доме, о том, как бы избежать ошибок в будущем, о хлебе и о себе самом. – Это же антихрист на нас наваливается, антихрист! Ладно, – он вздохнул. – покумекаю, поприкидываю, что можно сделать. От напасти надо отбиваться, и если мы ее не сожрем, она сожрет нас.

Через несколько минут дом погрузился в темноту – Распутин уснул.

Весь Петербург знал, что Распутин относится к бесцеремонной семье хлыстов, запрещенной когда-то Александром Вторым, и весь Петербург – весь! – не верил в то, что Распутин – настоящий хлыст. Настоящие хлысты – угрюмые, замкнутые люди, чурающиеся всякого общения, и если уж они с кем-то общаются, то очищают человека от греха, словно банан от кожуры, а Распутин знался со всеми, кому не лень, от греха очищал только женщин – способом проверенным и древним, и это вызывало лютую ярость оскорбленных мужей, обманутых любовников, мужчин света – они никак не могли примириться с «хлыстовством» Распутина, и если уж Распутин не боялся организованной оравы нищенков, то мужчин, когда они собирались в кружок и что-то замышляли, боялся. Не потому ли он выиграл на скачках, что оскопят его петербургские рогаосцы?

Вообще-то, сибирские хлысты по сути своей были людьми работающими, усердными, очень темными, своей темнотой гордились, а еще более, чем собственной темнотой, гордились «некнижными рыбаками и безграмотными архиереями», проповедующими учение Кондрата Малеванного о том, что каждый хлыст есть «царь над царями, бог, во плоти пришедший», по этому учению всякий хлыст получал отпускную, мог делать что хотел, кроме одного – признаваться в том, что он хлыст. Как ни бывал загулен и пьян Распутин в компаниях, как ни размягчался, обласканный женщинами, он ни разу не сознался в том, что он – хлыст. Малеванщина тех, кто признавался в причастности к хлыстовству, карала строго, – случалось, людей находили мертвыми.

Сам Кондрат Малеванный в 1895 году был заключен в Казанскую психиатрическую лечебницу, что, как известно, было хуже тюрьмы, но дело помешанного Кондрата не увяло, а наоборот, расцвело, перекинулось далеко в Сибирь, к Байкалу. Среди малеванцев не существовало такого понятия, как стыд. Женщины в молитвах обнажались до пояса, трясли прелестями, показывая тем самым, что Христос был распят на кресте обнаженным и наготы стес-

няться нечего; пением молитвы «Кресту Твоему поклоняемся» женщины «объясняли, что они хотели показать, как Христос воскрес и снял с себя тробные пелены». Очень часто во время молитв женщины бросались к мужчинам, страстно прижимались к ним, одаряли долгими, взысоч, поцелуями, принимали неприличные позы. Это считалось у хлыстов нормой.

«Хлыщу, хлыщу, Христа ищу» – была когда-то у хлыстов популярная религиозная песенка, которая, по нашим понятиям, вряд ли годится для молитвы или церковного хора.

Н.Н. Евреинов <см. *Комментарии, Стр. 63. Евреинов Николай Николаевич...*>, издавший брошюру о Распутине еще в двадцатые годы, отметил, что «старец» особенно был увлечен «обрядом умовения ног»: в бане его окружали несколько женщин и одна из них, самая молодая, самая пригожая, обязательно мыла ноги из оловянной шайки. Распутин отождествляет этот обряд с тайной вечерей, с картиной умовения ног Христа Марией Магдалиной, что «влекла Распутину к инсценировке этого события, с безудержием половой психопатии, обращающей чуть ли не каждую подходящую поклонницу старца в блудницу Марию, униженно моющую ему ноги».

Как известно, хлысты считают священников поганцами, смутьянами, любодееми или гнездинниками, потому что они женаты... Брак и крещение хлысты считают за осквернение; в особенности вступающих в брак почитают погубившими душу свою и пр.

Отвергая церковный брак, уча, что с прежней (до вступления в секту) женой следует жить, как с сестрою, хлысты имеют духовных жен, плотские связи с коими не составляют греха, ибо здесь проявляется не плоть, а духовная «Христова» любовь. Иметь связи с чужими женами значит у хлыстов – «любовь иметь, что голубь с голубкой». «Поэтому хлысты, не терпя брака, оправдывают внебрачные отношения».

К хлыстовству Распутин склонял почти всех женщин, появлявшихся в поле его зрения, за исключением, может быть, близких к царскому дому, тут «старец» вел себя осмотрительно, тихо, если же женщин ему не хватало – шел к проституткам. В дневниках наружного наблюдения отмечены десятки, если не сотни, проституток, которых Распутин брал просто на панели. «Распутин был хлыст, по-видимому, малеванского толка» – такой вывод делает Евреинов. А хлыстовство малеванского толка – одно из самых худших.

Но была и другая точка зрения. Еще при жизни старца... Впрочем, какой он старец? Распутин был сравнительно молодым и очень крепким человеком.

Однажды исследователь русского сектантства <см. *Комментарии, Стр. 64...исследователь русского сектантства...*> В.Д. Бонч-Бруевич пригласил к себе Распутину, чтобы поподробнее побеседовать с ним, понять, настоящий он хлыст или нет, – может, только притворяется и никакая душа Христа в нем не живет? Распутин охотно пришел к нему: любил знаться с высшим светом.

Квартира Бонч-Бруевича потрясла гостя – просторная, как дворец, и главное, уютная, живая, пространство не давит, не съедает человека, не превращает его в мошку. На стенах висело много картин в роскошных золоченых рамах и фотографических портретов.

Картины и портреты заинтересовали Распутину особенно.

– А это кто? – Сделав несколько стремительных шагов, «старец» остановился около одного портрета, окинул его цепким взором, стараясь схватить все сразу и понять, что за человек изображен. Услышав ответ Бонч-Бруевича, перебежал к другому портрету. – А это кто?

В рабочем кабинете хозяина висели портреты сектантов, портретов было много, и Распутин взволнованно заметался от одного портрета к другому, задышал часто, хрипло – было видно, что лики этих людей действуют на него, удивляют своей силой.

Минут пять он стоял около изображения красивого густоволосого, бородатого человека, умершего четверть века назад, потом прошептал:

– Вот это сила! – Быстро отер рукою рот – он делал очень много бытовых, земных движений, частил, суетился, и когда сам замечал это, становился суровым, молчаливым, но эта суровость быстро проходила, Распутин был живым человеком, – повторил: – Вот это сила!

– Действительно, это очень сильный человек, – подтвердил Бонч-Бруевич.

– А сила-то не в нем, а в ей! – неожиданно воскликнул Распутин, переместив взгляд на другой портрет, где этот же человек был изображен с женщиной – скромной, низенькой, с сутулыми плечами, глядящей исподлобья, словно лисица. – Не от себя он имеет силу, а от нее. В ней он черпает свою силу! Он, вообще-то... он, ты знаешь... – Распутин обращался к Бонч-Бруевичу на «ты», хотя видел его впервые. – Он плакать да страдать готов да на подвиг звать, но сила вся – в ней! В конце концов люди пойдут за ней!

Распутин угадывал то, чего не знал, чутье у него было звериное, – красивый бородатый сектант действительно черпал свою силу в этой неприметной женщине с лисьими глазами, и когда он умер от укуса заразного клеща, секта избрала ее предводительницей, и она сделала для секты куда больше, чем он, Бонч-Бруевичу было интересно наблюдать за Распутиным, он понимал, что Распутин – человек самобытный, необычный, народный – именно народный, вышедший из глубины, из самой гущи народа, из толпы, и философия у него своя, ни на что не похожая, народная, и говорит он так, как говорит народ.

Распутин начал философствовать:

– Восторг души – вот счастье человека! – Он метнулся из одного угла кабинета в другой, потом метнулся обратно, рассек пространство кабинета и остановился посередине, попробовал ногами половицы. – Не скрипят ведь! Вот что значит дом хорошо содержится!

– Спасибо! – сдержанно улыбнулся Бонч-Бруевич.

– Слышь, друг. – Распутин повысил голос. – Верно тебе говорю, как загорится душа пламенем восторга – значит, поймал ты свое счастье! И лелей его, тетешкай, не упусти. Счастье, в отличие от горя, упустить ой как легко – само из рук выпархивает! – Распутин сделал несколько быстрых шагов, остановился у стены, на которой висел большой портрет старика с широкой бородой и испытующим взглядом. – А это кто? Скажи, кто это? – Распутин потыкал пальцем в портрет.

Человека этого Распутин не знал, хотя изображение его было известно широко, факт этот удивил Бонч-Бруевича, он хотел назвать фамилию старика, но Распутин не слышал его – даже если бы он и сказал, Распутин все равно бы не услышал его.

– Ну и человек! Ах ты боже мой! Самсон! Друг ты мой, вот он, Самсон-то, где! Познакомь меня с ним, а? – Распутин откинулся от портрета, вгляделся в лицо старика. – Кто это? Где он живет? А? – сильно сощурился, стараясь понять душу изображенного, проникнуть в нее. – Поедем сейчас к нему! А где он живет?

Бонч-Бруевич красноречиво развел руками, показывая, что Распутин задает ему слишком трудный вопрос.

– Вот за кем народ полками идти должен, – не останавливался Распутин, шагнул в сторону, посмотрел на портрет сбоку и щелкнул шнурком выключателя – зажег электрическую лампочку. В назидательном движении поднял палец: – Полками! Дивизиями!.. Поехали к нему!

– Не можем, – сказал Бонч-Бруевич.

– Почему-у?

Бонч-Бруевич произнес громко:

– Это Карл Маркс!

Фамилия не произвела на Распутина никакого впечатления, он не слышал о ней.

– Ну и что? Не царь же, чтобы был так занят, и не король.

Поехали к нему, а?!

– Карл Маркс умер много лет назад. Давно уже!

– Да? – изумился Распутин. – Не знал... Не слышал! – Потушил электрическую лампочку. – А жаль, что к нему нельзя поехать. – Под глазами Распутина возникли скорбные гусиные лапки – мелкие, частые морщинки. – А то бы побеседовали! – Он говорил о Карле Марксе, как о живом. – Вот у него-то души хватит на многие тысячи людей, а у нас? Да мы даже сами себя обеспечить душой не можем, никакого запаса. Все киснем да хныкаем, а делать ничего не умеем. Нас тут бьют, нас там бьют-колотят нас, мнут, обворовывают, объедают... А мы? Йи-эх! – Распутин умолк, повесил голову, потом осторожно, словно бы боясь обжечься, присел на краешек стула...

Бонч-Бруевич потом отметил:

«Много мне приходилось видеть восторженных людей из народной среды, ищущих чего-то, мятущихся, взыскующих угада, куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих, но Распутин – какой-то другой, он отличается от всех, ни на кого не похож. Не имея никакой политической точки зрения, он что-то стремился сделать. Что? И для кого?»

Когда Распутин после разговора уходил от Бонч-Бруевича, то на пороге задержался, помял черную велюровую, не по сезону, шляпу:

– Для народушка жить нужно, о нем помышлять!

Из разговора с Распутиным Бонч-Бруевич выяснил, что о хлыстах тот не имеет почти никакого представления, к секте малеванцев не принадлежит и прикрывает малеванством собственную вседозволенность.

«В один прекрасный момент все это кончится плохо», – подумал Бонч-Бруевич.

Утром Распутин проснулся мрачный, взъерошенный, мятый – он уснул, не снимая с себя ни рубахи, ни штанов, – босиком вышел на середину залы и, глянув на большую, тяжелую люстру, богато посверкивающую хрусталем и свежей бронзой, пошевелил пальцами ног.

– Ангелина!

Дом, похоже, был пуст – на крик никто не отозвался. Матреша, любимой дочке, тоже не было. Может, Лапшинская повела ее куда-нибудь в цирк? Или на благотворительный концерт? Но об этом разговора не было.

– Ангелина! – что было силы выкрикнул Распутин, услышал, как над головой шевельнулись и сладостно запели тонкие хрустальные подвески. Вот за что он любил хрусталь, так за нежный сахарный звук. Из хрусталя хорошо пить вино – в сто крат напиток бывает вкуснее, чем из простого стекла. В чем, в чем, а в этом Распутин знал толк. – Ангелина! – прокричал он в третий раз, ему сделалось жутковато, по коже побежали резвые колючие мурашки.

Хуже нет одиночества, человек в нем очень быстро теряет самого себя – звереет либо превращается в тряпку, да и убить его, когда он один, много легче – почти ничего не стоит. Распутин видел, как убивали людей, и удивлялся, с какой легкостью это происходило, – ничего, оказывается, не стоит вышибить дух из двуногого, и что главное – в большинстве случаев человек совсем не цепляется за свою жизнь. Почему?

Если бы знать, почему. Может быть, жизнь осточертела, потеряла ценность? Распутин передернул плечами, ожесточенно потер одной рукой другую, потом поменял руки, отер лицо, замер: почудилось, что в соседней комнате раздались тяжелые, грозные шаги. Это что же, выходит, он совсем один остался в большой, холодной квартире и любой обидчик, спрятавшись за портьерой, может запросто напасть на него со спины?

Распутин перекрестился, бесшумно двинулся обратно, в спальню, ступая вперед пятками. Пожалел о том, что до сих пор не купил себе револьвера; Муня Головина много раз советовала получить разрешение в полиции и купить револьвер – время-то надвигается опасное, шалого народа много на улицах и в домах, и приходящий секретарь Симанович, который помышленнее и попроворнее Лапшинской, тоже советовал, но что-то не лежала у Распутина

душа к оружию; зайдя в пороховую лавку, он повертел в руках новенький бельгийский браунинг и отдал продавцу:

– Дорог больно!

– Есть и подешевле. – Продавец наклонил блестящую, намазанную маслом голову. – Но будет хуже!

– Не надо мне ничего, ни хуже, ни лучше, – сказал Распутин и покинул лавку.

А выходит, напрасно он отмахнулся от напомаженного продавца – револьвер-то надо было купить. Оружие делает человека храбрее, увереннее в себе. Даже несмелый, с трясущимися коленками человек становится смелым, когда в руке держит дуру, способную сделать в поросенке дыру.

Ну если уж не револьвер, то хотя бы топор под кроватью надо бы держать. Распутин растерянно втянул сквозь зубы воздух. «А эта тля, что приходила вчера... Может, она сейчас что-нибудь учудит? Нет, револьвер надо обязательно купить, с револьвером спокойнее».

Он облегченно вздохнул, когда услышал внизу легкие, почти летящие шаги, узнал их – у Лапшинской была особая, птичья, походка.

– Ты где была? – спросил он, когда Лапшинская появилась в зале. – Что-нибудь случилось?

– Слава богу, нет. Звонили от госпожи Лебедевой...

– И что же? – Распутин привычно пошевелил пальцами босых ног, вспомнив о вчерашнем, улыбнулся. Лицо осветилось изнутри, сделалось приятным, с черт исчезла жесткость, глаза посветлели.

– Велели сказать, что будет приятный сюрприз, просили не отказываться.

– Ладно, от подарков таких женщин, как госпожа Лебедева, отказываться нельзя. – Распутин пошарил рукою в кармане брюк и выгреб горсть бумажных ассигнаций. – Ты вот что, Ангелина... Бери мотор, поезжай на вокзал и купи мне билеты до Тюмени.

– Сколько билетов?

Распутин наморщил лоб, соображая.

– Возьми четыре купе. Целиком четыре купе. Задача ясна? – по-военному спросил он.

– Так точно, – тоже по-военному отозвалась Лапшинская, взяла желтый кожаный портфельчик, положила в него деньги и через десять минут на автомобиле укатила на вокзал.

Оставшись один, Распутин достал из буфета номерную бутылку горькой крымской мадеры – благородного напитка, подаваемого только к высоким столам, потом, подумав, достал еще одну бутылку, тоже номерную – «Слезы Христа» – сладкого, душистого вина, которое любил царь, налил в узкий хрустальный штофчик мадеры, выпил, сощурился довольно, в другой штофчик налил «слез». также выпил махом и отрицательно покрутил головой.

– За что он эту пакость любит? Сладка уж больно! Так сладка и так липка, что, помажь палец, приложи к носу – приклеится. Не оторвать, вот как приклеится – мертво берет. Йй-эх! Интересно, а что за сюрпризец приготовила госпожа Лебедева? – Он поднял бутылку со «слезами». – «Слезы Христа» – это не вино – варенье! Если не запить – сдохнуть можно! – Он снова налил себе мадеры, похвалил: – А это – да, это вино. Совсем другое дело.

Сюрприз госпожи Лебедевой был необычен – в квартире Распутина появились два дюжих молодца с рыжими усами и бритыми затылками, наряженные в одинаковые костюмы, с одинаковыми шляпами, очень похожие друг на друга.

– Вы что, братья-близнецы? – спросил Распутин.

– Никак-с нет-с, – ответил один из молодцов, старший, – ростом он был на несколько сантиметров выше своего напарника.

Госпожа Лебедева, которой не понравилось пришибленное, угнетенное состояние Распутина – она уже прослышала и про странных нищенков, осаждающих квартиру «старца», – прислала Распутину двух охранников, наняв их в специальном бюро. Охранники владели при-

емами бокса, ловкими подсечками, подножками, знали также тайны китайской борьбы, умели хорошо стрелять из револьверов, прыгать и бегать, читать по глазам мысли и угадывать желание хозяина.

– Спасибо, – растроганно пробормотал Распутин, – вот не ожидал... Действительно сюрприз! – Он засмеялся тихо, расслабленно, подивился в эту минуту тому, что какой-то час назад его могли допекать разные страхи, по коже бегал мороз, колотся, в душе было пусто, а сейчас состояние совсем иное – возвышенное, будто у ангела, солнечное, легкое. И все благодаря госпоже Лебедевой.

– И все-таки, ребята, я откажусь от ваших услуг, – сказал он охранникам.

– Почему-с? – удивился старший, приподнялся на цыпочках, чтобы быть повыше. Распутин заметил это, усмехнулся, прикрыв рот рукой. – Все уже оплачено! – сказал старший.

– Да разве дело в оплате? – высоким резким голосом проговорил Распутин. – Совсем не в этом! Не могу я, чтобы меня охраняли! У меня уже есть охрана, да и народ от меня отречется. Сейчас люди ходят ко мне открыто, а когда вы будете – как станут ходить? – Распутин покачал головой. – А? Ясное дело – будут бояться. Нет, спасибо вам. – Распутин поклонился охранникам. – А госпоже Лебедевой я сейчас позвоню. Прямо при вас!

Он набрал телефон Лебедевой и тихим, в себя, голосом – разговора охранники не слышали, хотя стояли рядом, – объяснил ей, что сюрприз хоть и хорош, но не может он принять охрану. Минуты две Распутин втолковывал это Лебедевой, потом повесил трубку и сказал охранникам:

– Все! Ступайте, ребята, по домам. А я, пожалуй, буду собираться. Давно у себя в Покровском не был.

Через полчаса Лапшинская привезла билеты – она купила четыре купе в вагоне второго класса.

Слукавил Распутин либо забыл – у себя на родине, в Покровском, он был не так давно – весной, когда пространство бывает сплошь залито светом, снег блестит так, что глаза краснеют даже у лошадей – у бедных одров текут слезы и мутнеют зрачки, воздух пахнет мочеными яблоками, льдом и свежими муксунами – сладкой обской рыбой.

Утренний выпуск петербургских «Биржевых ведомостей» тогда сообщил: «27 марта в Тюмень прибыл Григорий Ефимович Распутин. Он снял обычный свой костюм и теперь в шубе на дорогом лисьем меху, в бобровой шапке производит впечатление франта. Тюмень еще не признает в Распутине ни пророка, ни деятеля, поэтому его приезд не вызывает ни встреч, ни толков.

День 27 марта Распутин провел у своего приятеля – господина Стряпчих, ездил по магазинам, больше по гастрономическим. Не обошлось и без поклонниц... Затуменские обыватели могли в доме Стряпчих видеть его пьющим чай на диване между двух барынек, из которых одна – пышная брюнетка со жгучими глазами, а другая – более пожилая, но не утратившая еще следов былой красоты.

Утром рано, по холодку, 28 марта Григорий Ефимович на своих лошадаках поехал в село Покровское, где он проведет Пасхальную неделю.

Не обошлось и без просителей и посылки Распутиным телеграмм на имя важных чиновников».

Тюмень Распутин любил больше, чем Тобольск, хотя губернское начальство обреталось в Тобольске. Тюмень была богаче, вольнее, шумнее, расхристаннее чопорного, застегнутого на все пуговицы губернского Тобольска, и Распутин, если не было дел, в Тобольске не останавливался – душа не лежала, а вот в Тюмени мог жить сколько угодно.

Один из тюменских знакомых «старца» не расставался с запиской, которую хранил при себе, как самый дорогой документ, – записка была ему дороже паспортной книжки. Состояла

она всего из двух слов: «Выслушай ево» и подписи: «Распутин». Знакомый широко пользовался запиской, и не было людей, которые бы отказали ему, – брал все подряд: от икры и свежей пеляди до мануфактуры и леденцов-монпансье в огромных жестяных банках, устраивал знакомым продвижение по службе, а в соборе стоял в первом ряду вместе с предводителем тюменского дворянства и городским головой.

После мартовской Тюмени Распутин поехал в Крым – и снова газеты дали о нем репортажи, снова шустрые корреспонденты скакали по всей Ялте, будто блохи, стараясь не упустить «старца». Корреспондент «Ялтинского вестника», патриот своего города, особо отметил, что Распутин занимал просторный светлый номер с видом на море. В открытое окно залетал вкусный ветер с запахами недалекого ресторана, жареной баранины и морской соли, были слышны крики чаек, очень похожие на детские, – весной чайки всегда кричат, как обиженные дети.

Репортер не стал ходить вокруг да около, а задал Распутину вопрос в лоб:

– В петербургских газетах на днях были напечатаны заметки о том, что вы, Григорий Ефимович, намерены в скором времени выступить в печати с какими-то сенсационными заявлениями. Правда ли это?

«Старец» начал отнекиваться:

– Нет, неправда. Я далек от всяких выступлений. Да и на что мне это?

Видать, вопрос уязвил его, за живое задел. Распутин неожиданно сморщился, будто съел горькое дикое яблоко.

– А теперь, молодой человек, покиньте мой номер!

На этом интервью закончилось.

Когда репортер покидал номер Распутина, то услышал, что чайки начали кричать громче обычного, а одурающе вкусный запах жареной баранины исчез.

Другой репортер был более осторожен, он лишь спросил у Распутина, сколько времени тот пробудет в Ялте.

– Через четыре дня уеду, – ответил Распутин.

Не знал, не видел Распутин, что буквально по следам его, иногда приближаясь на расстояние двух десятков метров, ходила женщина, одетая в черную длинную юбку и в темную вязаную кофту сажевого цвета, застегнутую под самое горло, на голове у женщины был повязан тускло-темный платок, надвинутый на самые глаза. Походка у нее была бесшумная и легкая, как у рыси.

Никто раньше в Ялте эту женщину не видел, она появилась здесь впервые.

– В Тюмень сегодня же, курьерским поездом! Ах, какая благодать! – радовался Распутин и довольно потирал руки. Подгонял дочку: – Ты, Матреш, суетись-ка, суетись! Попроворнее будь! Уже взрослая! Собери кой-чего в дорогу. Яиц испеки, на рынке купи индюка жареного, в ресторане на Мойке найди Яблокова, попроси у него севрюги свежего копчения, икры паюсной да языка, у Елисея купи баранок, три связки бубликов с маком, конфет и этих самых... – Распутин сложил два пальца продолговатым колечком, показал Матрене.

– Маслин? – догадалась та.

– Во-во, два фунта, – кивнул отец, – крупные чтоб были, проверь, мелкие не бери. И еще купи сушек. А вот эти мелкие должны быть – чем мельче, тем лучше! Поняла?

– Не слишком ли много одного и того же, папаня: баранки, бублики, сушки? Может, взять чего-нибудь одного?

– Делай, что тебе говорят! – Распутин повысил голос. – А чтоб тебя не обдурили, возьми с собой Ангелину!

– Мотор взять можно, папаня?

– Мотор мне нужен самому, – проговорил Распутин сердито.

Через двадцать минут на арендованном заранее моторе он уехал к госпоже Лебедевой – надо было нанести прощальный визит, поскольку предстояла разлука: в Покровском Распу-

тин намеревался провести не менее полутора месяцев, Петербург давил на него, здесь много враждебных лиц, их стало еще больше, надо было постоянно держать себя в собранном состоянии, а в Покровском он расслаблялся, он там был среди своих, там не надо было играть, там – никаких ролей. Покровское знало его с той поры, когда он ходил под стол пешком и макушкой ни за что не задевал – все перекладыны были над ним. И с другой стороны, госпожа Лебедева получила телеграмму от мужа – светский советник прибывал в Санкт-Петербург через два дня.

Насчет Петербурга и квартиры, в которой он жил сейчас, Распутин уже решил окончательно – с Гороховой надо съезжать и перебираться в дачную тишь, пахнущую крапивой, жасмином и парным молоком. Еще зимой Распутин ездил по селам и дачным станциям, присматривая себе дом.

В селе Мартышкино нашел подходящий особняк – высокий, с большими чистыми окнами и молодым яблоневым садом, сработанный добротнo, со вкусом – не тяп-ляп, как принято сейчас, лишь бы не завалился, и подъезд к дому был хороший: веселое зеленое село Мартышкино находилось между Петергофом и Ораниенбаумом, а дорога, что связывала Петергоф с Ораниенбаумом, как известно, отменная. Распутин уже несколько раз приценивался к дому, охал – просили слишком много, – но по лицу его было видно – за дом он отдаст и много. Дом стоил того.

В машине он думал о мартышкинском доме, едва слышно шевелил губами:

– Вот где можно будет вздохнуть в полную грудь. Тишина, спокойствие. Это Мартышкино – все равно что мое Покровское. Беспременно перееду туда жить. И делом займусь, да грамоте подучусь, благо есть учителя. Без грамоты никак нельзя. Григорий, говорят, безграмотный. Вот то-то и оно. – Распутин вздохнул. – Плохо, что это говорят. Грамотой займусь сразу же, как поселюсь в Мартышкино!

Чувствовал он себя устало, разбито, одиноко, лишь мысль о том, что сейчас он увидит красавицу Лебедеву, согревала его.

Через двадцать минут после отъезда Распутина на Гороховой вновь появились странные нищенки.

– Вот черт побери! – выругалась предводительница нищей оравы. – Так мы никогда и не застанем его!

Она как в воду глядела, старая, мудрая ворона, – Распутина ей так и не удалось застать в Петербурге.

– Может, мы подождем его здесь? – обратилась нищенка к Лапшинской.

– Нет, здесь ждать нельзя, – сухо проговорила Лапшинская, – не положено!

– Так что же нам делать?

– Не знаю!

А ведь кто ведает – дождись эти побирušки Распутина, переговоры с ним, может, и история государства Российского сложилась бы по-иному: иногда крохотный винтик, треснув, заставляет останавливаться огромную машину либо, выдержав непомерную нагрузку, позволяет ей идти вперед. Распутин в этот момент тоже подумал о нищенках – он словно бы почувствовал, что они находятся в его доме, лицо его потемнело, от носа вниз потянулись морщины.

– Кыш! – махнул он рукой, отгоняя от себя мысль о нищенках. – Вот привязались!

Вжался поглубже в пухлое кожаное сиденье автомобиля, раздраженно подумал о том, что мотор пахнет краской, шофер слишком сутул – горб налезает ему на затылок, – молчалив и очень любит тихую езду: автомобиль Распутина легко обгоняли лихачи-извозчики, втянул сквозь зубы воздух, стараясь остудить себя, и понял, что в таком раздерганном, нервном состоянии к Лебедевой ехать нельзя – впечатление он произведет самое дурное, но и не ехать тоже нельзя – это тоже произведет дурное впечатление. Распутин заколебался... Протянул руку, чтобы хлопнуть сутулого шофера по плечу – стоп, мол! – но до шофера не дотронулся, заду-

мался тяжело, взгляд его сделался незрячим. Распутин и не заметил, как автомобиль затормозил у дома Лебедевой.

Поворачивать назад было уже поздно, Распутин вышел из автомобиля, встряхнулся, сделал несколько резких движений – ему надо было прийти в себя, – хотел было присесть, но то было неудобно, и он медленно и важно вошел в дом Лебедевой...

Не все трепетали перед именем Распутина и стремились оказать ему услугу, надеясь, что услугой этой поимеют для себя выгоду, были и другие. Во время одного из заседаний председателю Совета министров И.Л. Горемыкину <см. *Комментарии*, – Стр. 75. *Горемыкин Иван Логгинович...* > было передано письмо Распутина.

Горемыкин вскрыл письмо, прочитал его сам, затем дал прочитать тем, кто сидел рядом, усмехнулся и медленно, демонстративно, с каким-то внутренним наслаждением порвал его.

Курьеру, который привез письмо, сказал, что ответа не будет.

Газеты писали, что в Петербурге Распутиным интересуются больше, чем погодой и температурой воздуха.

– Как Распутин?

– Как термометр. Все поднимается!

В.М. Пуришкевич – член Государственной думы, человек яростный, упрямый, твердолюбый, – ненавидел Распутина, считал его позором России.

Распутин о Пуришкевиче говорил так:

– Пуришкевич искренен, работает он правдиво, только вот одно у него, что вредит, – язык его. Потому и сказано: «Язык мой – зло мое».

Пуришкевич же, руководивший черносотенцами <см. *Комментарии*, – Стр. 76...*руководивший черносотенцами...*>, говорил о Распутине следующее:

– Левые газеты, желая запачкать Союз Михаила Архангела, председателем которого я состою, и меня, клеветца, говорят, что Распутин выбран то почетным членом Союза, то действительным и так далее. Где состоит Распутин, мне неизвестно, но в Союзе Михаила Архангела нигде по империи он не состоит в рядах союзников. И если бы я узнал, что какой-либо отдел Союза позволил себе войти в соприкосновение с Распутиным, я немедленно – слышите? – немедленно по телеграфу закрыл бы такой отдел!

Эта фраза была произнесена Пуришкевичем 21 июня 1914 года.

Были и другие очень сильные люди, не любившие Распутина. Но тех, кто верил в него, ловил каждое слово и повиновался, было больше, и это Распутин знал, потому и мог позволить себе благодушное подтрунивание, считая резкость и выпады, когда люди не выбирали слов, признаком слабости.

Когда Распутин делал в Петербурге первые шаги и был обычным «некрасивым грязным мужичком», но очень говорливым, услужливым, он познакомился с царицынским священником Илиодором – в миру Сергеем Труфановым, Красиным, большеглазым, статным, с бледным нервным лицом и изящными женскими руками Илиодор, так же как и Распутин, пробивался в свет, думал покорить Санкт-Петербург, был представлен царской семье и лично самой царице, но ничего у Илиодора не получилось. Санкт-Петербург он не покорил, в свете своим не стал и царице не понравился – визит этот был единственным, больше в семью Романовых его не приглашали, и Илиодор решил уйти в тень, вернуться в Царицын и забыть то, что было.

В Царицыне же Илиодор был любим и почитаем – не существовало проповедника популярнее его.

Несколько своих проповедей Илиодор посвятил «блаженному старцу Григорию».

– Я скажу вам, кто такой старец Григорий, – громыхал Илиодор с амвона сочным медовым басом, от которого млели царицынские молодницы. – Старцем я его зову не по седым волосам, как у стариков царицынских купцов, ум которых не поспорит с умом самого неразвитого

юноши, а зову его старцем за его ум и подвижничество. Старцу Григорию всего сорок лет, родом он из Сибири, фамилия его Распутин, но впоследствии он переименовал эту фамилию на другую...

Григорий в двадцать пять лет бросил пьянствовать и захотел посвятить себя Богу. Целый год ходил по святым местам. По возвращении же на родину стал усердно молиться. Домашние его, видя в нем такую перемену, стали уговаривать его возвратиться в семью, а односельчане всячески над ним насмеялись. Но вот в один из рабочих дней, когда брату Григорию наскучили все увещания и насмешки, он воткнул в землю лопату, перекрестился и в чем был, в том и ушел из родного угла. Целых три года он ходил по святым местам. Оставил жену и детей.

Возвратившись домой, Григорий занялся домашними и полевыми работами, а на дворе у себя вырыл землянку, где молился и в продолжение двух недель не утолял голода пищею, а жажды водою. Затем брат Григорий говорил мне, что, когда косили они сено или во время жатвы, товарищи его раз по двадцать утоляли жажду, а он за целый день ни разу не утолил своей жажды... Да вытерпит ли простой смертный в такую жару и при такой работе?

Передергивал брат Илиодор в своей проповеди, сильно передергивал, отсутствовал будущий «старец» не три года, а несколько меньше, и две недели не сидел без еды в землянке, да и землянки на распутинском подворье в Покровском не было – во всяком случае, односельчане такого не помнили. Моленье – да, это было, Распутин молился неистово, бил поклоны, на лбу у него даже образовалось земляное пятно, но кто в Покровском не молился?

Наметившаяся дружба между Распутиным и Илиодором вскоре треснула – сосуд не выдержал испытания, Илиодор стал ненавидеть старца, он завидовал Распутину. Глаза Илиодора вспыхивали ярко, зло, когда он говорил о Распутине, Распутин же относился к Илиодору снисходительно.

В 1911 году специальная комиссия из семи лиц – в комиссии было три священника, один писатель, один блаженный и два «ревнителя веры и чистых дел», как они себя называли, епископ Гермоген <см. *Комментарии*, – Стр. 78. *Гермоген (Долганов Георгий Ефремович)*...>, человек суровый, неистовый и дурной, и царицынский инок Илиодор (фамилии первых пяти человек неизвестны), – собравшись в архиерейских покоях, учинила Распутину суд с пристрастием.

Обвинительную речь произнес Илиодор. Гермоген, держа в одной руке крест, другой схватил Распутину за голову, сдавил что было силы. А сила у Гермогена имела – Распутин от боли даже заплакал.

– А ну, антихрист, признавайся в грехах своих! Кайся! Ну! Что ты натворил? И как только тебя ноги по белу свету носят!

Понимая, что дело худо, его просто могут не выпустить из глухих покоев, куда не проникает ни один звук, и крик его все равно никто не услышит, Распутин стал сознаваться а своих грехах.

Первой он назвал девушку – царицынскую монахиню Ксению, которую мучил четыре часа, требуя, чтобы она легла к нему в постель. Потом назвал еще два десятка женских имен.

– Почему первой ты назвал монахиню Ксению? – загромычал Гермоген мощным басом.

– Она... Она... – Распутин громко сглотнул. – Она была очень несчастная. Несчастнее всех. Плакала!

– Красивая? – неожиданно спросил писатель.

Распутин утвердительно мотнул головой, в глазах его заплескался страх – он боялся этих людей.

Ему удалось выбраться из архиерейских покоев живым – Распутин был бледный, исцарапанный, испуганный настолько, что не мог говорить, но живой. От дома, в котором собралась страшная семерка, до своей квартиры он несся, как ветер – ноги его почти не касались тро-

туара, Распутин бежал, как по воздуху, дома заперся на все засовы, лег в постель и накрылся одеялом.

Уснуть в ту ночь ему не удалось – Распутин никак не мог успокоиться, у него жутко стучали зубы – дробь временами слабела, но не проходила, перед глазами стояло страшное, бледное лицо Гермогена и еще его рука – сильная, со вздувшимися в суставах пальцами и вспученными сизыми жилами. Распутин стонал от бессилия и обиды, закусывал губы и открывал глаза. Видение проходило.

Конечно, с монахиней Ксенией он обошелся круто, не надо было бы так с нею, но Ксения – нежная и бледная, как свеча, красивая, с крупными синими глазами – не желала подчиниться Распутину, и он потерял над собою контроль – сдирал с Ксении одежду, хлестал ее по лицу, таскал за волосы, намотав их одной большой прядью на руку, хотел даже прижечь ей пятки, но одумался... Ксения плакала, захлебывалась слезами, у нее перехватывало дыхание, потом плакать у Ксении не стало сил и вообще не стало сил сопротивляться, и она сдалась.

Соблазненным женщинам Распутин говорил следующее:

– Только через меня и можно спастись! Для этого необходимо слиться со мной душой и телом. Все, что от меня исходит, есть источник света, очищающий от грехов!

Женщины верили Распутину, верили, что, ложась с ним в постель, навсегда освобождаются от греховной одежды, и ощущали физическое облегчение, им делалось спокойнее, уютнее в жизни, теплее, легче, прочь уходили худые мысли и никогда не возвращались, мужья становились привязаннее и внимательнее к ним, дела у этих женщин шли на лад.

«Он – опасный авантюрист, преступник, – писала о Распутине провинциальная печать, в частности, газета «Русские новости». – Он очень добрый и честный человек. Он пророк. Он святой черт. Он просто хитрый, неискренний, недалекий мужик с бородой. Он очень нервный, постоянно возбужденный человек. «Бескорыстный ходатай за крестьянский мир честной», хотя самым плутовским, самым бессовестным образом обирает своих поклонниц.

И европейцы – немцы и французы – удивляются: откуда такое взялось? И как это может в России конституция уживаться с «Гришкой Распутяшкой», которого в архиерейских покоях именем Христа стучают по голове кулаками и который делает международную политику, хотя не умеет написать двух слов на своем родном языке? Что это такое? Откуда это взялось? Как и какими силами существует?

И теперь... к этому святому грешнику, очищаемому с дамами в бане, вопросов стало больше».

Распутин тщательно собирал все, что писали о нем, складывал газеты в папку, а потом, когда газет стало слишком много, велел Лапшинской вырезать заметки и наклеивать на страницы специального альбома.

Западная печать тоже уделяла внимание Распутину и тоже удивлялась: откуда он взялся такой? Впрочем, удивлялась не всегда. Вот что написала германская газета «Vossische Zeitung»: «Распутин – не мистик и не юродивый. Его единственное оружие – мужицкая хитрость. Пресыщенным владелицам будуаров между Сергиевской улицей и набережной Невы надоели необуддизм, m-r Philippe < см. *Комментарии*, – Стр. 80...надоели необуддизм, m-r Philippe... > и прочее, и они ухватились за мужика из Сибири: это было нечто новое для них. Хитрый мужик сумел использовать положение, в которое попал, и сделался диктатором России».

Распутин болезненно морщился, когда к нему попадали такие заметки, покашливал в кулак и утомленно закрывал глаза – он уставал от нападков, он не понимал, чего от него хотят? Живет себе человек и живет, тихо живет, дышит воздухом, хлеб ест, чай пьет... Ну за что же его травить? За то, что к нему равнодушны прекрасные мира сего? Хорошо, что хоть Маска пока молчит.

Ну так кто мешает вам, господа хорошие, иметь столько же женщин? Вопросы супружеской верности, преданности дому, семье, детям не волновали Распутина – он был выше этого.

Заметки, появляющиеся в печати, в том числе и у черта на куличках, где-нибудь в Хабаровске, Распутин перечитывал по нескольку раз и, если его шпыняли острым словом, страдал.

Впрочем, когда Распутину задали вопрос, слышал ли он о том, что бывший монах Илиодор собирается выпустить о нем книгу за границей, Распутин зевнул со скучающим видом и равнодушно проговорил:

– Ну и что же? Пусть себе пишет, коль охота есть. Да пусть не одну, а хоть десять книг испишет, потому что бумага все терпит. А что касается Илиодора, то ведь песня его спета уж, так что, что бы он ни писал аль ни хотел там писать, прошлого не вернешь. Все хорошо во благовремени.

Ему нравились поезда, веселая суета вагонов, хмельная обеспокоенность пассажиров, одолеваемых истомой предстоящей дороги, – дорога всегда сулит соленый хрустящий огурчик, купленный на перроне у казанской бабы, и екатеринбургские рыжики, такие мелкие и верткие, что их никак нельзя насадить на вилку – ускользают, но зато лучшей закуски под холодную водку не придумаешь; радуется горький угольный дымок, тянущийся из вагона-ресторана, и барабанно-дробный перестук колес на звонких рельсах. Распутин любил дорогу, любил ездить и всегда путешествовал весело – с шумом, в больших компаниях.

На этот раз с ним ехало пятнадцать человек, сам он был шестнадцатым.

Войдя в купе, Распутин первым делом опустил стекло, с шумом втянул в ноздри воздух и азартно потер руки:

– Не верится, что сейчас поедим. Ох, не верится!

Высунул голову в окно, глянул в одну сторону, подмигнул толстому полицейскому, вооруженному тяжелой саблей и пудовым револьвером, перекосившим ремень, глянул в другую сторону, улыбнулся почтовому служащему, одетому в мятый форменный пиджак с нечищенными пуговицами, пошмыгал носом и вновь потер руки:

– Йй-эх!

Потом Распутин отправился посмотреть, что за народ собирается в вагоне.

Публика подбиралась солидная, важная, спокойная, и это радовало Распутина. У одного купе с открытой дверью Распутин остановился: человек, одетый в холщовый костюм, с волосами, стриженными бобриком, под одежную щетку, и спокойными глазами показался ему знакомым. Распутин покашлял в кулак и объявил с детской непосредственностью:

– А я тебя знаю!

– Я вас тоже!

– По-моему, ты у меня был. Дома!

– Никогда не был. – Человек в холщовом костюме засмеялся. – Тем более – дома.

– Тогда где же мы встречались? – озадаченно спросил Распутин.

– В канцелярии премьер-министра!

– А-а! – воскликнул Распутин и закрыл рот, боясь сказать что-либо лишнее. – Но я там бываю редко!

– Я тоже! – сказал человек в холщовом костюме.

– Как? Разве ты не там служишь?

– Нет.

– Тогда кто же ты? Я думал, что ты чиновник, там служишь!

– Я журналист.

– Из какой газеты?

– Из газеты «День».

– Хорошая газета, – похвалил Распутин, – настоящая! – Хотел добавить: «Меня не ругает!», но не сказал – она ведь хорошая не только поэтому, пригласил: – Заходи ко мне в купе.

– Благодарствую! – Журналист в холщовом костюме сдержанно поклонился.

– Ты мне нравишься! – сказал ему Распутин. – Еще раз благодарствую! – Журналист поклонился вторично.

– Я люблю журналистов! Опасный народец! – Распутин засмеялся и пощелкал пальцами. – С таким народцем лучше не ссориться – себе дороже станет!

Журналист деликатно промолчал.

– Как тебя зовут? – спросил Распутин.

– Александр Иванович!

– Александра Иваныч... Сын Иванов. Русское имя, русское отчество – это хорошо. – Распутин достал из кармана щепотку семечек, кинул в рот. – А меня – Григорий Ефимов.

– Это я знаю.

– Заходи ко мне в купе, в общем, – сказал Распутин и бесшумно удалился – шаги его потонули в густом ворсе ковровой дорожки.

Сосед журналиста, пожилой земский чиновник с землистым одутловатым лицом, в пенсне с черным шелковым шнурком, выглянул в коридор, проверяя, ушел «старец» или нет, поинтересовался внезапно задрожавшим голосом:

– Это Распутин?

– Да!

– Червь вселенский! – Земец выругался. – Всякое было в России, а вот такого еще не было! Неужели вы пойдете к нему в купе?

– Не знаю, – журналист неопределенно пожал плечами.

– Не ходите! – попросил земец. – Вас же люди перестанут уважать. А вы, видно по всему, уважаемый человек!

– Спасибо. – Журналист открыто улыбнулся, улыбка у него была обезоруживающей. – Но как тогда быть с моей профессией? Я же журналист!

– Ну... ну... – Земец не нашелся что ответить, вздохнул и отвернулся к окну. – Поступайте как хотите, только не теряйте уважения, Александр Иванович.

– Я постараюсь, – просто, без всякой иронии произнес журналист, прислушался к женскому гомону, доносящемуся из коридора, понял, что женщины эти – с Распутиным, подумал, что надо бы написать об этом путешествии. Материал о Распутине никогда не пропадет. Если он и не понадобится сегодня, то обязательно понадобится завтра.

«С чего начать описание? С портрета? – Журналист посмотрел в окно в удивился тому, что поезд уже идет, – машинист тронул состав совершенно неприметно, плавно, без лязганья и грохота колес – вот что значит опытный человек! Серый задымленный перрон медленно полз назад. – Ну вот и пошел отсчет. Человек в дороге находится в новом измерении. В каком? В четвертом, наверное».

Земец привстал – он тоже не заметил, как поплыл назад перрон с людьми, – перекрестился.

– С Богом! – Земец открыл новый кожаный баул, достал оттуда курицу, завернутую в восковку – прозрачную непромокаемую бумагу, свежие, в крохотных пупырышках огурчики, две стопки и плоскую бутылку «Дорожной» водки – журналист видел такую водку впервые. – По старому русскому обычаю, – объявил земец и зашуршал восковкой, разворачивая курицу. – Не откажете?

– Ну что вы, кто отказывает соседу? Не принято, – улыбнулся журналист.

Земец разлил водку в стопки. Александр Иванович думал, что земец – ходячий сюртук, застегнутый на все пуговицы, с язвой, коликами в печени, несварением желудка и буркотней в кишках – такой у него недовольный, болезненный вид, – но земец оказался живым человеком, которому все мирское было не чуждо.

– За то, чтобы благополучно доехать, – объявил земец, поднимая свою стопку.

– Выпьем за это! – согласился журналист и ощутил в себе неясную тоску – такое уже было десять лет назад, когда он, желторотый юнец, еще только пробуящий свои силы в газетном деле, попал на русские позиции среди двух темных маньчжурских сопки и потом под огнем пошел вместе с солдатской цепью в атаку.

Он мог не ходить, но для правдивости материала, для того, чтобы понять страх человека, бегущего навстречу пулям, – а японцы открыли тогда бешеный огонь, пули роились в воздухе, как мухи, от них, казалось, даже почернел день, – пошел цепью на японские окопы и чуть не погиб. Японцы выкосили половину русской цепи.

После той атаки журналист, забившись в какую-то сырую глубокую яму, горько плакал, бился головой о стенку ямы и никак не мог остановить себя: сдали нервы. Потом пришел санитар, усатый старый солдат с повязкой на руке, сделал укол, и журналист успокоился.

Атака та, сопки, мертвые солдаты в сочной зеленой траве снились ему потом лет восемь, только недавно перестали сниться, а щемящее чувство одиночества, внутренней пустоты, боли не проходит и сейчас, и когда оно подступает, то что-то цепко и сильно сдавливает сердце, дыхание пропадает, горло начинает драть какая-то соленая дребедень, не поймешь, что это – то ли слезы, то ли кровь, то ли еще что, и потом еще губы трясутся. Мелко, противно, долго.

Они выпили по две стопки, земец съел полкурицы, остальное спрятал, водку убирать не стал и замер в неподвижной позе, глядя в окно. Лишь в минуту особой расслабленности произнес:

– Колдовская все-таки штука – дорога! А притягивает-то как! Как притягивает, а? Как огонь и вода, ничего более сильного, чем дорога, вода и огонь, нету. – И замолк надолго: похоже, опьянел, а может, на него по-шамански сильно подействовала дорога.

В купе заглянул Распутин, пробил глазами журналиста.

– Чего ж не заходишь?

– Время еще не подоспело.

– Ко мне всегда можно! – Распутин подозрительно сощурился. – Может, гребуешь?⁴

– Нет, – сказал журналист.

– Смотри, Александра Иваныч, – медленно произнес Распутин и прикрыл дверь купе.

«Ну что в нем особенного, что? – думал журналист, пытаясь понять Распутина, отметить в его чертах что-то необычное, колдовское, сверхъестественное. – Ну что? Борода и усы, как у многих мужиков России, цвет самый рядовой, крестьянский – темно-русый. Нос мясистый, книзу и в сторону, некрасивый, лоб несколько вдавлен, руки крепкие, волосатые, ноги – врозь. Корявые ноги-работяги. Сутулый, с припрыгивающей походкой. Распутин как бы крадется по земле, выслеживает дичь. Грудь впалая, но широкая. Бей сапогом – не пробьешь. Морщинист и устал – да, Распутин морщинист и устал не по годам... А сколько лет-то ему? Сорок шесть? Сорок восемь? Что-то около этого. И все время в нервном напряжении, то соберет в кулак бороду, сунет в рот и пожует ее, то начинает теревить нарядный пояс, которым перетянута его красная косоворотка, то почешет поясницу – он делает это быстро-быстро, по-мышинному, то поскребется у себя под мышками».

У Александра Ивановича – фамилию свою корреспондент «Дня» Распутина не назвал, и Распутин не интересовался ею, то ли уже знал, то ли надеялся узнать в Петербурге или спросить у самого журналиста позже, перед прощанием, – был приметливый глаз и толковое перо. Из таких журналистских перьев потом всегда выходили писатели, хотя журналисты проводили между собою и писателями четкую, очень реалистическую грань, и когда журналиста хвалили за хлесткую, умную статью: «Да вы настоящий писатель!» – он непременно поправлял хвлящего: «Да что вы, что вы! Я обыкновенный репортер!»

⁴ Брезгуешь.

Знаменитого Кукольника <см. Комментарии, – Стр. 85...знаменитого Кукольника...> вообще возвели в генеральский ранг: «Вы пишете гениальные пьесы!» Кукольник растерялся: «Пьесы пишет Чехов, а я только пером скриплю. Чехов – писатель, я же – невесть кто».

Вскоре Распутин пришел за журналистом вторично:

– Не-ет, ты все таки моим обществом гребуешь!

– Ни в коем разе!

– Тогда чего же не идешь?

Журналист поднялся с лавки, взглянул на земца, словно бы прося прощения, – он был из тех людей, которые не любили обижать других, земец ответил ему гневным взором, и журналисту сделалось обидно: напрасно его не понимает человек, он же при исполнении служебных обязанностей – при исполнении! – и вышел из купе вслед за Распутиным.

Ему было интересно знать, кто едет с Распутиным. Для статьи, которую он задумал. Для собственной надобности, для того, чтобы иметь полное представление об этом человеке, в конце концов! Распутин чесал поясницу, поглядывал в открытую дверь купе, – и верно, чесать поясницу – любимое занятие Распутина: лицо у старца делалось расслабленным, задумчивым, губы сладостно опадали, прятались в бороде – видать, Распутин отдыхал душой, когда чесался.

Рядом с ним, по левую руку, сидела девчонка лет четырнадцати, одетая в простенькую голубую кофту, мешком наброшенную на ее тело, с пухлым носом – сказывалась петербургская простуда – и сонливыми глазками. Портрет завершали две тощие, похожие на яблоневые сучки, косички. Руки у девчонки были грубые, красные, с обожженной кожей, сама она была очень нервная – на месте не сидела. Журналист понял так: это дочь Распутина.

И верно – дочь, Матрена. Распутин сказал ей:

– Поди погуляй, Матреша!

Девчонка с топотом умчалась в коридор.

По правую руку старца сидела девчонка-гимназистка, тоненькая, белая, нежная, но с улыбкой человека, знающего, что такое грех.

– Садись! – Распутин, приглашая журналиста, ткнул перед собою рукой. – Хорошо, что пришел! Это Надя, – представил он гимназистку. – Едет в Сибирь понять смысл жизни. Родители живут в Санкт-Петербурге, но собираются переместиться в Тобольск.

«Что же тебя, такую молоденькую, занесло в эту компанию?» – с жалостью подумал журналист, хрустнул пальцами. Вслух же произнес совсем не то, что хотел сказать

– Очень приятно!

Дежурная фраза, дежурная схема поведения.

Из-под столика, покрытого дорожной салфеткой, Распутин достал бутылку вина с блеклой старой этикеткой, показал журналисту:

– Это вино было сделано в те годы, когда родители нас с тобой еще и не замышляли, а может, и еще раньше. Видишь, даже буквы от времени стерлись. Люблю это вино. Тебе, Надюш, налить? – Распутин покосился на гимназистку.

– Немного.

– И то хорошо, – одобрил Распутин, глянул в окно, за которым плыло одинокое вечернее поле с густыми рядами зелени и хилым зубчатым леском, обрамлявшим дальний край, ткнул туда рукой: – Вот за что надо выпить – за землю Русскую, за мужика, который ковыряется в ней, за зерно, что прорастет и станет хлебом.

– Хорошая мысль! – похвалил журналист.

– Эх, Александра Иваныч! – неожиданно растроганно проговорил Распутин. – У меня этих мыслей полон черепок. – Он стукнул себя пальцами по голове. – Не вмещаются, переливают через край. И все для простого мужика, все за него – я жизнь свою за него не пожалею! – Распутин снова ткнул пальцем в окно, за которым тихо уплывало назад зеленое молчаливое поле. – За то, что он землю эту обиходил, бросил в нее зерно, заставил жить! И все вот этими

вот, – он показал журналисту одну руку, свободную, левую, – такими вот руками обиходил. Выпьем за русского мужика!

Выпили. Гимназистка выпила тоже – она, похоже, вообще не любила отставать, маленькими глотками опустошила стопку, вытерла губы ладонью – в ней было сокрыто что-то очень детское, доверчивое, нежное, требующее защиты, и журналист, ощущая в себе отцовскую жалость, чуть было не сделал к ней движение, чтобы прикрыть ее; защитить от Распутина, но «укололся» о твердый, недобрый взгляд «старца». Ему показалось, что Распутин все понял, и журналист решил увести разговор в сторону, поднял стопку, чтобы резное стекло поймало темный вечерний свет.

– Доброе вино, – похвалил он.

Распутин, выдержав паузу, отозвался:

– Плохих не держим!

– Когда пьешь вино, главное – не вкус, а послевкусие, то, что остается на кончике языка. Последнюю каплю надо прижать языком к небу и послушать ее. Вкус этой капли и будет вкусом вина. Марсала всегда имела сложный вкус. Мадера – тоже. Вы, я слышал, мадеру любите?

– Люблю.

– Это вино с многослойным вкусом. В нем много чего есть: и жженая хлебная корочка, и сушеная груша, и еще что-то, не имеющее, по-моему, названия.

– Главное – варенья нет, – вставил Распутин, – не люблю, когда в вине – варенье. Не вино тогда это, а сироп.

– Да, варенья в ней нет, – согласился журналист.

– А ты, я вижу, специалист по этому делу, – сказал Распутин и добавил с непонятым выражением в голосе, то ли одобряя, то ли порицая: – Александра Иваныч!

– Нет, – не согласился с Распутиным журналист, – просто я наблюдательный человек. Это же моя профессия – видеть, запоминать, описывать. Я слышал, Григорий Ефимович, что вы собираетесь организовать газету? Вроде бы и название уже есть – «Народная газета»?

– Что, разве плохое название? – Распутин смял бороду, подергал ее, потом пальцами расчесал, словно гребенкой, уложил на груди. Руки у него все время находились в движении, не лежали на месте. – Верно, я собираюсь основать газету, хотя название еще не придумал. А что, «Народная газета»... А? Звучит неплохо. Я думал даже такое название дать: «Специально для народа». Не очень-то вкусно, проволокой отдает, но зато верно. Пойдешь ко мне работать? – Распутин сощурился, отодвинулся от гимназистки и в упор глянул на журналиста.

Тот выдержал взгляд и спокойно поставил пустую стопку на столик.

– Я уже работаю.

– Буду платить больше!

– Разве в деньгах дело?

– Верно, не в деньгах. Я считаю – в грамоте. Какая моя самая большая беда и забота, а? Грамотешки маловато. Поднабраться бы грамотешки – и можно делать и газету, и книги, и даже целое издательство. Но ничего, ничего, грамотешку я все равно одолею, поднатужусь, подтяну ремешок на мозгах и одолею. И главное дело моей газеты будет борьба с пьянством. Я в молодости пил, очень пил, а потом понял, что это беда.

Александр Иванович вспомнил, что одна из газет напечатала приметную фразу Распутина, которую тот несколько раз произнес, встречаясь в Покровском со своими односельцами: «Я был пьяница, табакур, потом покаялся, и вот видите, что из этого вышло!»

Впрочем, в Покровском его хоть и уважали, но считали за своего. Впрочем, Тюмень его тоже принимала за своего и особо высоко не поднимала. Чужим он был только в Тобольске.

– Значит, не пойдешь ко мне в газету? – Распутин насмешливо сощурился.

– Не знаю. Не готов к предложению.

– А жаль! – искренне огорчился Распутин. – Мне нужны будут такие люди, как ты. И чтобы мозгой шевелить умели, и чтоб обаяние было. Непривлекательный человек – это непривлекательный человек, он многого не сделает. Особенно в таком деле, как это. – Распутин выразительно поводит по воздуху пальцем, изображая перо.

В купе всунулся молодой гражданин, которого журналист раньше не видел, – коротенький, с толстыми ногами, в желтых скрипучих туфлях, с золотой цепью через весь живот, в серой теплой шляпе. Рыжеватые усы распущены, топорщатся воинственно, как у гусара.

– Григорий Ефимыч, ничего не нужно-с?

– Принеси еще бутылку марсалы.

– Слушаюсь! – Рыжеусый вскинул к шляпе два пальца и исчез. Это был, как понял Александр Иванович, секретарь или нечто – нечто – в этом роде. Через три минуты он снова появился в купе, держа в руке запыленную бутылку марсалы. – Прошу-с!

– Молодец! – похвалил Распутин. – И года не прошло!

– Обижаете, Григорий Ефимыч, – укоризненно произнес молодой гражданин, протягивая бутылку Распутину.

– А кто пробку выбивать будет? Я?

– Слушаюсь! – Рыжеусый вновь исчез из купе.

– Хороший человек, способный. – Распутин покачал головой, – ловкий, верткий, услужливый, но... Но! – Он поднял указательный палец. – Всегда в человеке есть какое-нибудь «но», и мешает оно, мешает... Как танцору толстые каблуки! Главное «но» наше – лень! Но! – Распутин поднял указательный палец еще выше. – У меня тоже есть свое «но». Люблю я этого парня, душой привязан к нему и менять на другого не буду.

За стеной хлопнул глухой выстрел – способный молодой человек благополучно выбил пробку из тугого обжима горлышка. В коридоре сочно запахло старым вином.

– Прашу! – Молодой человек в третий раз появился в дверях распутинского купе. – Свежайшее!

«Что свежайшее? Марсала? Тогда будет «свежайшая», – подумал журналист. – Или напиток? Тогда будет «свежайший». С ударами что-то не очень. А потом, марсала-то – старая. Старое и свежее – разные понятия».

– Как думаешь, война с германцем будет? – задал Распутин вопрос журналисту, в последние дни он об этой войне думал все больше и больше.

– Ею пахнет, она просто висит в воздухе, Григорий Ефимович!

– А я не допущу! – сказал Распутин. – Не допущу, чтобы русского мужика убивали ради французского капитала.

– Ну-у... этот вопрос неоднозначный. Думаю, французский капитал сильнее русского мужика. Я даже не знаю, кто будет решать этот вопрос. Наверное, кто-нибудь повыше царя. А кто это будет, а? Кто выше царя?

Гимназистка Надя неожиданно хихикнула и показала пальцем на Распутина. Журналист отвел глаза в сторону, встал.

– Спасибо большое, Григорий Ефимович, за хлеб, за соль, – поблагодарил он.

– Ты это... ты заходи еще! Сегодня же и заходи. И вообще почаще заходи, ладно? – Распутин привстал, словно бы желая поклониться, и тут же опустился на диван. – Марсалы до самой Тюмени хватит! И мадера есть! – Распутин махнул рукой, словно бы благословляя журналиста.

Хоть и не познакомил Распутин журналиста со своим окружением – кроме Матрешки и гимназистки Нади, Александр Иванович вроде бы не должен был никого увидеть, а он увидел все и всех и лишней раз уточнил портрет Распутина – все совпадало с тем, что он наметил, чистовой холст один к одному совмещался с подмалевком. Как у хорошего живописца.

«Больше всего – кроме, естественно, марсалы, мадеры и девочки Нади – Распутин любил чесать себе спину, – записал журналист в блокноте, – точнее, не спину, а ниже – поясницу. Делает это суетливо, будто насекомое. Еще любит скрести себя под мышками. Это не от грязи, нет, ибо старец сказал, что он и дома, и в поезде по два раза на день принимает ванну, – а от нервов. Что-то в нем натянуто до предела, струны звенят, а может, какая струна и надсеклась, лопнула, вот человек и неспокоен, вот и не может посидеть и минуты без движения, без чеса и скребков».

Он потом еще раз проверил собственные наблюдения, наблюдательный Александр Иванович, и через некоторое время напечатал у себя в газете под псевдонимом Путешественник: «Этот человек спокойно и минуты не посидит. Вот зашел в купе, а уже через несколько секунд, вбирая голову в плечи, выскакивает, щупает глазами по сторонам и бегаёт в проходе вагона, нервно потирая руки, бормоча и иногда выкрикивая что-то непонятное.

У него взгляд тающий, сладко замирающий на людях. Когда он с кем-то говорит, наклоняет голову набок и глядит на собеседника нежно и лукаво, как бы шепча:

– Меня не обманешь...

А когда ни на кого не глядит, то преображается: глаза принимают естественное выражение – выражение это злое, полное ненависти ко всему».

Земец уже спал, сладко причмокивая губами, – лицо его обвело, сделалось безмятежным, порозовело – исчезла нездоровая землистость, выдающая в нем желчного человека, над ним, на верхней полке, лежал толстый человек со старомодными бакенбардами, спускающимися от висков к подбородку, очень низко – выбритым оставалось только малое пространство, – помещик из Казанской губернии, наверняка помещик, который гостил у приятеля в соседнем вагоне и поначалу отсутствовал, потом пришел, пытался выпросить у земца нижнее место, но земец не уступил. Над журналистом тоже определился пассажир, уютно укрылся одеялом под самый подбородок – студент из Санкт-Петербурга, направляющийся в отчий дом на каникулы.

Студент читал газету – был он юн, белобрыс, глазаст и зубаст, – стрельнул в Александра Ивановича взглядом и приподнялся на подушке, приветствуя его. Помещик на своей лежанке даже не пошевелился. Держать в памяти людей, которых Александр Иванович увидел у Распутина – штука обременительная, перегруженный мозг всегда может подвести, лучше все записать сразу, поэтому Александр Иванович разделся, лег, зажег ночничок и достал из походной сумки блокнот.

«Окружение Распутина. Две матери с дочерьми, широкогрудая массивная дама лет тридцати, красивое лицо, но жирная; худая, гибкая девушка с жаждущими глазами». Ее журналист про себя окрестил Эвелиной и потом вздрогнул от неожиданности, когда услышал распутинский оклик: «Эвелина!» Девушка на этот зов готовно обернулась, ее действительно звали Эвелиной, журналист угадал. Он вообще обладал даром попадать в точку. Записал несколько слов и о Наде: «А рядом – девчонка-гимназистка, тоненькая, нежная, беленькая, но с греховной улыбкой. Тощая увядающая дама стремится посидеть у окна, и ветер треплет ее короткие волосы – она, как курсистка, мотает головой. Величественная старуха, которая опирается на руки своей дочери. Седой кок открывает прекрасный лоб. Распутина все женщины зовут про себя “отец”. Но у всех – потухшие глаза, даже платья, украшенные золотом и бриллиантами, беспомощно висят на них». Александр Иванович писал мелкими, как пшено, буквами, очень скоро, и все равно, несмотря на скорость, когда он закончил писать, попутчики его уже спали – помещик и земец, соревнуясь друг с другом, храпели, студент тихо уткнулся лицом в стенку и замер. Александр Иванович погасил ночник, попытался уснуть, но не тут-то было – мешал стук колес, храп, скрип вагонных суставов и Распутин. Он долго думал о Распутине и уснул лишь где-то в середине ночи.

Проснулся он от голоса земца, тот сидел на мягком железнодорожном диване и на распутинский манер почесал у себя под мышками.

– Всякое бывало у нас в России, но такого еще не было! – приговаривал он раз за разом – слова эти для него сделались приказкой, обязательным текстом, припевом – видать, Распутин выкинул что-то такое, о чем журналист еще не знал.

От земца пахло курицей – он уже позавтракал. Грудку куриных костей, завернутых в газету, земец еще не выбросил. Помещик сидел рядом с ним и зевал.

– Доброе утро, – приветствовал журналиста студент. Студент был хорош собой – красив, как девушка, наряден: одет в белую форменную курточку с золочеными пуговицами и хорошо отглаженные светлые брюки, он походил на принца, прибывшего с визитом из малой страны в большую Россию.

– Доброе, – отозвался журналист.

– Ну что ваш этот самый... покровитель? – неприязненно спросил земец.

– Да ничего, – неожиданно устало ответил журналист – ему и этот землистолыцкий земец стал противен, и толстый помещик с тупым, упрямым взглядом, которого надо, как минимум, два месяца не кормить, чтобы он обрел нормальный вес и формы, и Распутин с его окружением, – в следующий миг подумал, что он так же груб, как и этот неотесанный земец, и поперхнулся собственным голосом. – Извините, – сказал он, – что-то я плохо спал сегодня.

– Дорога, – студент приветливо улыбнулся, – в дороге всегда плохо спится.

– Не скажите. – Земец покачал головой. – У кого какой организм.

Помещик угрюмо молчал.

Днем напротив открытой двери их купе остановилась гимназистка Надя, держась за поручень, подтянулась к окну, начала водить головой слева направо, провожая законные виды – красную, с длинным резиновым хоботом водокачку, заляпанный грязью пароконный фургон, увязший в размокшей дороге по самые оси, стаю бесстрашных ворон, шурующих у самого полотна, группу старых женщин, уныло бредущих по обочине. Гибкая точеная фигурка гимназистки соблазнительно изогнулась – было в этом движении что-то призывное, нежное, очень женственное, студент не выдержал, поправил воротничок рубашки, одернул на себе куртку и шагнул в коридор.

Встал рядом с гимназисткой у окна. Та готовно подвинулась.

– Европейцы любят смотреть на огонь, находят в нем что-то колдовское, таинственное, живое, азиаты – на воду, им нравится видеть, как течет вода, в движении воды тоже есть колдовская сила, она привораживает, а русские всему этому предпочитают дорогу. Русский человек может сутками стоять у окна и не отходить от него.

– Наверное, потому, что русские – не азиаты и не европейцы, а что-то среднее между ними.

Студент внезапно рассмеялся, потом прихлопнул смех рукою.

– Извините, пожалуйста, в голову пришла неожиданная мысль...

Гимназистка прогнулась еще больше: да, в ней, несомненно, было что-то взрослое, греховное – все правильно, отметил журналист.

– Какая же мысль?

– Русские любят смотреть на дорогу скорее всего потому, что нигде нет таких дорог, как у нас. В России самые плохие в мире дороги. – Студент сделал неопределенный жест, он занимался дорожным делом в университете. Гимназистка разом поскуичнела, глянула искоса на студента: хорош собою, строен и красив, но глуп. Она вздохнула.

Послышалось глухое буханье ног по ковровой дорожке, журналист сразу угадал – Распутин. И точно, у окна возник – Распутин, нервный, быстрый, в лиловой, блестящей, будто у цыгана, рубахе – красный цвет он сменил на лиловый, – молча и решительно отеснил студента от гимназистки, потом сделал короткий, почти неуловимый шаг, и студент вовсе оказался заблокирован; Распутин находился между ним и девушкой.

– Надя, пошли в купе, – требовательно проговорил Распутин, – нас ждут.

Гимназистка заупрямилась, углом приподняла острые хрупкие плечики, но Распутин был настойчив, обхватил ее рукой, окончательно оттеснил студента – тот вновь очутился в своем купе, – Распутин глянул на него зло, вполуприщур, и, словно бы огнем обдал, в следующую минуту он увел сникшую гимназистку в свой конец вагона.

– Ну и ну, – переводя дух, словно после бега, неверяще проговорил студент.

– Всякое Россия видела, но такого не видела, – взялся земец за старое.

– Он же колдун, он леший, он огнем обжигает. – Голос у студента сорвался на шепот.

«Распутин все чувствует, все читает своим взглядом – читает чужие взгляды, и глаза его, как отмечают многие, меняют цвет», – записал журналист у себя в блокноте.

Когда в следующий раз журналист заглянул к Распутину, тот с деревянным хрустом давил рукой сушки и кормил ими Эвелину, протягивая ей на манер блюдца открытую ладонь с кусками сушек. Эвелина покорно нагибалась и, будто телушка, брала ломаные сушки с ладони губами.

– Заходи, Лексантра Иваныч, – добродушно пригласил Распутин, – давно не был. Гребуешь, журналист, ей-ей гребуешь. – Тон его сделался укоризненным. – По поведению вижу. А ты не гребуй, мы с тобою из одинакового теста сделаны. Вот она не гребует. – Распутин погладил Эвелину по голове, и Эвелина послушно склонилась к его ладони. – А голубица-то благородных кровей, дворянка... Садись, Лександра Иваныч, сейчас мы с тобой мадеры выпьем.

– А может-с, в ресторане, Григорий Ефимыч? – спросил возникший в проеме купе секретарь. Пальцем впустил усы, потом, ухватившись за золотую цепочку, вытащил из жилетного кармана толстые серебряные часы, отщелкнул крышку. – Уже пора обедать, Григорий Ефимыч!

– Ну что ж, можно и в ресторане, – согласился Распутин, – через двадцать минут.

– Тогда я мигом-с, Григорий Ефимыч, – заторопился секретарь, – надо, чтоб осетринку успели запечь.

Распутин скормил Эвелине остатки сушек, подержал в руках пустую веревку, которой сушки были связаны, швырнул ее под ноги, нагнулся и из корзины, стоявшей внизу, в багажном отделении, достал очередную связку лаково поблескивающих, посыпанных маком сушек.

«Это сколько же всякого добра увезено из Петербурга? – задал себе невольный вопрос журналист. – Сушки, сушки, и все с маком, яблоки, конфеты, бублики, калачи...»

– погоди, – сказал ему Распутин, схватив лукошко, сдернул с него вафельное полотенце. В лукошке были конфеты. – Сейчас угощу паству и вернусь.

Он поднялся, но не успел выйти, как на него накинута Матрена, ухватила рукою лукошко:

– А мне? Мне!

– Возьми, сколько надо, и отстань, – сказал отец, – и взрослых постыдись... Вон сколько взрослых! – Матрена набрала две горсти конфет и отстала.

– Девчонка не хуже других, – проворчал Распутин, вернувшись в купе, – а вот устроить мне ее не удалось. Тьфу! Начальница дерьмовая попалась. Ей ведь указали – сверху указали, – он показал пальцем в потолок, – что есть такие веления, не исполнить которые она не может – не она главная! А эта ведьма заявила, что исполнить-то исполнит, примет Матрешу в свое благородное заведение, но тут же подаст бумагу об отставке. Тьфу! – История, которая попала в газеты, глубоко, видать, сидела в Распутине. У него зло раздулись ноздри, взгляд погас. – Но никто понять не хочет, что мне из нее человека надо сделать, манерную даму. – Журналист невольно отметил выражение «манерная дама». – Из света, из общества! Может, это единственный случай, когда можно отыскать мостик, отделяющий аристократа от неаристократа, но нет! – Распутин широко развел руками. – Ты пойми это, Лександра Иваныч, ты разберись, ты напиши! Знаешь историю про мою Матрену?

– Слышал.

– Вот и напиши!

Журналист промолчал.

– Я же говорю тебе: гребуешь ты нами, – остывая, произнес Распутин, – а ты возражаешь, считаешь, что нет. Ух не возражал бы! – Распутин вздохнул, поднялся. – Ладно, пошли в ресторан. Симанович небось осетрину уже не только поджарил, но и закоптил.

Журналист понял, что фамилия рыжеусого коротконового франта – Симанович, наморщил лоб, вспоминая, слышал эту фамилию или нет. По всему выходило, что не слышал. Нехотя поднялся – не мог решить для себя, надо идти в ресторан или нет. Земец опять надуется, посереет, выпятит губы, толстый помещик просто брезгливо отвернется... Ну как они не могут понять, что Распутин интересен для него сугубо профессионально, как литературный тип, как ходячий образ и вообще как человек, о котором нет однозначного мнения, – одни льнут к нему, поют хвалу, возносят на небеса, а другие относятся с презрением, льют хулу и стремятся втоптать в грязь. Для пишущего человека такой тип – находка! Но земец с помещиком не хотят осознать этого – дуются, чванятся, делают кислые рожи, будто козы, объевшиеся щавеля.

Единственный человек, который относится спокойно, – студент. Но он юн, он еще много не понимает.

– Общий сбор! – провозгласил Распутин и приложил ко рту горлышко пыльной бутылки, демонстрируя воинский рожок, побибикал, подудел губами, собирая подопечных. – Бери ложку, бери бак, ложки нету – хлебай так.

«А свита кто – все барыни и барышни из лучшего общества, – написал потом журналист, – жены, сестры и дочери людей, фамилии которых известны всей России».

– Александра Иваныч, поторапливайся! – подогнал его Распутин. – Приглашаю на обед!

И журналист решил от обеда не отказываться.

– Жаль, Григорий Ефимыч, столы в ресторане нельзя сдвинуть, – встретил их секретарь. Привычно впустил усы. – К полу прикручены-с. Мертво-с! То ли дело на Невском, в «Астории» или в «Европейской»? А-ах! – Симанович свел руки вместе, по-мусульмански взметнул их вверх. – А в «Вилле Роде»!

– Да молчи ты про Невский! – одернул его Распутин.

– Слушаюсь, – сказал Симанович и громко похлопал в ладоши, призывая ресторанный прислугу. – Окна закрыть! Вы мне всех людей застудите! Быстрее закрывайте окна! И закуски на стол: ветчину с хреном, заливную осетрину! На стол, на стол! – Он был тут главным распорядителем, энергично стучал кожаными подметками роскошных желтых башмаков, по ресторану ходил, не снимая шляпы, – она сидела у Симановича на макушке, по краям промокла, из-под потемневших полей тек пот. – А жаль, что нельзя сдвинуть столы, – вновь взялся он за старое, остановил свой взгляд на журналисте. Спросил почему-то шепотом: – Вы с нами?

– Вроде бы...

– Аха. – Симанович вновь похлопал в ладони, приказал: – Увеличьте столы на одно посадочное место. Еще один прибор и одну закусочку!

– Люблю шустрых людей, – подхватил Распутин, – хорошо распоряжается! – Рядом с собой он посадил гимназистку, погладил ей колено – жест был отеческим, по другую сторону – покорную, молчаливую Эвелину, напротив себя – журналиста и плотную тридцатилетнюю даму с красивым, породистым лицом. С грохотом поставил на стол бутылку. – Отведаем, чего Бог послал.

– Темпо, темпо, темпо! – на итальянский манер подгонял Симанович прислугу. – Живей!

Остановились около какой-то тщедушной, состоящей из двух ободранных домиков станции, паровоз дал протяжный печальный гудок. Распутин недовольно выглянул в окно:

– У каждого столба тормозим! Скоро будем тормозить подле кустов. По надобности.

Вдоль полотна, не боясь ни вагонов, из которых выглядывали люди, ни паровоза с его страшным лязгом и шипеньем, ходили куры – это были бесстрашные железнодорожные куры,

особые, воспитанные и обученные. Распутин, увидев их, преобразился и захихикал – у него поднялось настроение.

– Интересно, чего мы тут потеряли?

Через минуту выяснилось, чего потеряли, – в вагоне-ресторане возник служивый человек в пенсне и мятом летнем кителе.

– Телеграмма-с, – произнес он манерно и на маленьком светлом подносе, взятом тут же, в буфете, протянул Распутину листок бумаги.

– А! – оживился тот и, взяв листок, разорвал бумажную облатку. Прочитал, медленно шевеля губами, показал телеграмму журналисту.

Телеграмма состояла из одного слова: «С Богом». Подписи не было. Журналист обратил внимание на обратный адрес: «Царское Село». Так вот почему остановили поезд в этой дыре! Все понятно... Как понятно и то, кто послал телеграмму.

Распутин ткнул пальцем в потолок:

– Это благословение! Отметить бы это надо, обмочить. – Он взял со стола бутылку и, не глядя, протянул себе за спину: – Открой!

Симанович мигом метнулся к бутылке.

– Слушаюсь!

– Я послал туда телеграмму. – Распутин поднял увлажнившиеся светлые глаза. – Написал: «Отправляюсь в дорогу. Прошу благословить». И вот ответ. – Он встряхнул листок, достал из кармана серебряный рубль с хорошо знакомым профилем царя, какой без малого десять лет назад ему пожаловал сам Николай, и кинул служащему на поднос: – За труды!

Через полминуты земляной, плохо утопанный перрон с бесстрашными курами пополз назад, паровоз запоздало дал гудок, пустил густой шлейф пара, закрыл почерневшие от угольной крошки кусты, жиденький огород, длинной узкой полоской протянувшийся за кустами, несколько приземистых сараев, возле которых бродили все те же куры... Путешествие продолжалось.

– Уха из ангарской стерляди с восточными приправами и слоеными пирожками! – объявил Симанович и хлопнул в ладоши. Глянул строго в сторону широкого кухонного окошка, обрамленного ситцевой занавеской.

– Ангарская стерлядь, восточные приправы – все как-то так... Наше и не наше вроде бы, – усмехнулся Распутин, разлил вино по стопкам, скомандовал: – На остальные столы – шампанское!

– А что же коренное наше? Народное, так сказать? – спросил журналист.

– Обская щука и укроп с огорода.

Плотная женщина, сидевшая рядом с ним, не сводила с Распутина влюбленного взгляда.

– Очень остроумно! – проговорила она.

Уха была превосходной – напрасно Распутин ворчал, – настоящая, душистая, с золотистым бульоном и крохотными стручками сладкого перца, плавающего на поверхности, и пирожки к ухе были славные – хрустящие, пахнущие маслом, начиненные свежим печеночным фаршем.

Они не заметили, как в ресторане, в самом углу, где был установлен столик, рассчитанный для интимной беседы – на двоих, появилась женщина, одетая в черное: в черной длинной юбке до пят, в черной простой кофте без всяких украшений – глазу не за что было зацепиться, глаз задерживался только на черном, – в черном гладком платке, коробом надвинутым на нос – получался домик – и поднятом снизу так, что можно было закрывать все лицо, – мрачная, молчаливая, одинокая – Распутин глянул на нее, насторожился:

– А это что за животное? – Не получив ответа, добавил: – На смерть больно похожа!

Женщина исчезла так же внезапно, как и появилась – без единого звука, она словно бы из воздуха вытягала и в воздухе растаяла снова, растворилась в нем.

Над журналистом склонился секретарь, дохнул чесноком и водкой:

– Ну что, господин журналист, уха вкусная?

Про Симановича Александр Иванович написал следующее:

«Распоряжается в ресторане, отдает приказания перед приходом Распутина:

– Всем чаю! Откройте окна, чтобы проветрить! Живо! Через пять минут – закрыть!

Совещается с буфетчиками – какую подать осетрину, как приготовить суп, какое выдумать сладкое...

Вечером он напивается.

Попыхач!»

Когда Александр Иванович опубликовал статью в газете, Симановича некоторое время так и звали – Попыхач!

И вновь о Распутине. «Он – человек большой интуиции и практической сметки. Всем говорит “ты” и никому “вы”. Когда нельзя обращаться на “ты”, речь его безлична...

Аэропланы Распутин зовет “рапланы”.

Всем, кто хочет сфотографировать его, говорит:

– Пушай снима-ат!»

Вечером Распутин был задумчив, часто мял бороду, засовывал в рот, зажимал зубами и сидел неподвижно, думая о чем-то своем, потом расчесывал пальцами, расправлял – был «старец» не в настроении, но это не означало, что он ничего не видел, ничего не слышал.

Когда студент остановился около Эвелины и тихо произнес что-то – никто, кроме Эвелины, не услышал, что он сказал, – Распутин пружинисто вскочил и выметнулся в коридор. В три прыжка очутился около студента и сунул ему под нос волосатый жилистый кулак:

– А это ты видел?

Студент чуть отступил назад и оценивающе глянул на Распутина, с одного взгляда понял, что не одолеть, – у Распутина тело сухое, мускулистое, жира нет, несмотря на то что «старец» пьет без меры, ест сочащуюся желтым салом осетрину и безостановочно трескает сушки... Эвелину будто ветром сдуло, ну как пушинку: только что была – и уже нет ее. Студент удивленно поднял брови и отступил еще на один шаг.

– Уберите кулак!

– Я тебя спрашиваю, недомерок, это ты видел? Судя по всему, нет. Второй раз предупреждаю, третьего раза не будет. Понял? – Распутин круто развернулся и, косолапя, криво вымеряя ногами дорожку, отталкиваясь вначале от одной стенки, потом от другой, ушел.

Когда студент уже сидел в купе, к нему заглянул Попыхач.

– Ну что? – спросил он. – Ты, студент, смотри. Ефимыч из тебя сделает вот что. – Он сплюнул на пол и растер плевок желтым ботинком. Секретарь, как и его шеф, тоже предпочитал обращаться ко всем на «ты». Закончил он совсем по-распутински: – Понял?

В Казани студент тихо, ни с кем не попрощавшись, сошел.

В Казани целое купе заняли офицеры – молодые, громкоголосые, языкастые, с двумя гитарами – они прекрасно исполняли песни, пели романсы в четыре голоса и внесли в атмосферу вагона что-то живое, будоражащее, открытое. Распутин же реагировал на это по-иному – офицеры вызывали у него неприязнь. Офицеры – не студент, кулак к носу вон того краснолицего, словно бы только что из бани, поручика не поднесешь, и его товарища, юного темноволосого подпоручика, кулаком тоже не испугаешь: эти люди умеют драться. Распутин присмирел, сидел у себя в купе и ел сушки – все купе было засыпано крошкой и маком, на полу валялись обертки от конфет. В коридор он не выглядывал.

И секретарь его – Попыхач – тоже затих.

Спутниц Распутина офицеры не трогали – пели у себя в купе, звенели гитарами, пили шампанское. Узнав, что в поезде едет «старец», они стали посмеиваться над Распутиным.

Распутин из купе не вышел даже тогда, когда Матреша забралась на колени к одному из офицеров – краснолицему зубастому поручику – и отведала шампанского.

Но свое он взял – к Распутину всегда шла карта. Недалеко от Екатеринбурга, на крупной станции в вагоне появился управляющий казенной губернской палаты – бесцветный человек, как потом записал у себя в блокноте Александр Иванович, с «Владимиром» на шее; это был важный губернский чин, которому очень хотелось стать губернатором, но без посторонней помощи ему не дано было стать губернатором, – проследовал прямо в купе к Распутину.

– Честь имею, Григорий Ефимович! – Управляющий лихо щелкнул каблуками хорошо начищенных штиблет. – Зашел без всяких дел, э-э... просто так... Засвидетельствовать... э-э... свое почтение!

– Э-э, милый. – Тут Распутина осенило, лицо его посветлело, в зрачках запыльхали, замечались крохотные плоские свечечки, он приподнялся на диване и поманил управляющего к себе пальцем.

Управляющий быстро наклонился, выцветшее лицо его выразило любопытство и интерес.

– Тут едут господа офицеры, очень неприятные господа, – внятно произнес Распутин и перешел на давленный, неразборчивый шепот, потыкал пальцем в сторону купе, где расположились офицеры.

Управляющий резко выпрямился, выкрикнул, не поворачивая головы:

– Васильченко! – И когда явился высокий, статный, цветущий, так же как и управляющий казенной палатой, с «Владимиром» на шее чиновник, управляющий приказал ему: – Переписать всех по фамилиям!

В офицерском купе раздался шум, с барабанным звуком лопнула струна на гитаре. Васильченко рывкнул хорошо поставленным басом:

– Прекратить шум, если не хотите быть арестованы, г-гос-пода офицеры! В-ваши фамилии?

– По чьему приказу?

– По приказу господина губернатора!

Офицерское купе затихло, песни там больше не звучали, гитары тоже замолчали, проводник перестал носить туда шампанское – в полку офицеров ожидали неприятности: домашний арест, гауптвахта, понижение по службе – в общем, каждому свое; зато Распутин воспрянул духом, ожил, снова начал ходить по коридору, кормил с руки сушками Эвелину и требовал к себе проводника.

У проводника Распутин и раньше что-нибудь брал, поскольку старые запасы иссякли – распутинский мешок был небездонным, – то ящик с фруктами, то бублики, то буханку черного хлеба с воткнутым в горбину ножом, то пару кульков с конфетами. Распутинская свита дружно ела: в окно летели обрывки бумаги, очистки, корки, пустые коробки, конфетные фантики рассыпались пестрым слоем по земле. По купе бегала Матреша, визжала, всех угощала конфетами и яблоками. В офицерском купе ей сказали: «Брысь!», и в это купе она больше не заглядывала.

В Екатеринбурге журналист вышел. Он быстро написал статью и с почтовым проводником передал в Петербург. Статья была напечатана, когда Распутин находился в Покровском.

Александр Иванович, опубликовавший репортаж о поездке Распутина в газете «День», был уверен, что телеграмма, полученная Распутиным в дороге на крохотной замусоренной станции, была послана царицей. Либо фрейлиной Вырубовой от имени царицы.

Иначе чего скрывать свое лицо и не ставить подписи? Пуришкевичу, который не любил царицу так же, как и Распутина, принадлежат следующие слова: «Немецкая принцесса английского воспитания на русском троне, впавшая в мужицкую хлыстовщину пополам со спиритизмом в общей истории русского мистицизма, столь странно и оригинально, казалось бы, сме-

шавшая в себе совершенно не смешимые основные элементы от курной избы до английской школы, не оригинальна. Это г-жа Крюденер или г-жа Татаринова, взобравшаяся на трон» <см. *Комментарии*, – Стр.103...взобравшаяся на трон...>.

Железную дорогу, угольный паровозный дымок, врывающийся в окно, колыхание шелковых занавесок, сладковатый дух, исходящий от кожаных чемоданов, гуденье станционных колоколов и картошку с груздями, которыми славились уральские и сибирские станции, любил не только Распутин, любила и охранка, ее «филеров летучий отряд».

В дневниках «гороховых пальто» материалы по всем поездкам были аккуратно подобраны, подшиты, скреплены, пронумерованы, прослуживлены, разложены по числам – ничего не потеряно, ничего не упущено.

Иногда Распутин замечал филера – глаз у него был охотничий: мигом «отстреливал» в толпе – «старец» не уступал в этом деле филерам, – останавливался и тыкал в него пальцем, словно пистолетом:

– Ты чего за мной ходишь? А?

Опешивший филер, как правило, отворачивал лицо в сторону.

– Вас охраняю-с!

– Зачем-с?

– А как бы чего не вышло!

Вели дневник, слали в Питер телеграммы и записки филеры и на этот раз, в поезде. Они следовали за Распутиным по пятам и на каждой остановке навевались в железнодорожный телеграф.

В Тюмень поезд пришел утром. Здесь было по-южному жарко, сухо, солнце игриво золотило купола тюменских церквей. Распутин вышел со своей свитой на перрон. Было шумно.

Два агента столичного охранного отделения, сопровождавшие Распутина в поезде, передали своего «седока» агентам, ждавшим их здесь, и взяли билеты обратно. В столицу была отправлена специальная телеграмма. Вместе с агентами в Петербург возвращался и Попыхач – обиженный, в желтых ботинках, с желтым кожаным баулом в руке.

– Поезжай, поезжай назад, милый, – ласково втолковывал ему Распутин.

– Ну хоть на денек остаться разрешите, Григорий Ефимович! Отдохнуть надо.

– В дороге отдохнешь, милый!

– Ну хоть дыхание перевести. На один день!

– За один день в Тюмени ты столько девок перепортишь, что потом год придется разбираться. Поезжай, милый, не упрямься. Проводил – и довольно.

– Значит, больше я вам не нужен, Григорий Ефимыч?

– Ты мне всегда нужен. – Что-то дрогнуло в лице Распутина, он, похоже, заколебался, потом махнул рукой: – Поезжай!

В Тюмени Распутин пробыл недолго – отправился в Покровское. Он скучал по Покровскому – старому селу, которое постороннему человеку не всегда было мило, часто пугало своей угрюмостью, а Распутина было дорого, мило, как никакое другое – у него светлело и вытягивалось лицо, глаза молодели, меняли свой цвет, грудь сжимало, а в горле собирались слезы, когда он подъезжал к Покровскому. Покровское – это его село, на Покровское он был готов поменять и Петербург со всеми его радостями, и Москву, пахнущую свежими баранками, и Ялту с ее морем и изумительным вином, в Покровском он познал жизнь, истины, после которых все ему стало казаться мелким, здесь он обрел свою память – все святые, что были в мире, сейчас стучались в его сердце.

А Тюмень одолели дожди, и лишь сегодня, в честь приезда Распутина, выглянуло солнце, а так один дождь кончался, другой начинался – лило беспрерывно, земля пропиталась влагой,

раскисла, реки вздулись, стали опасными, даже самые мелкие речонки переполнились мутной водой и пенно громыхали, тащили муть, камни и вывернутые кусты. Счет утопленников только в одном городе Тюмени перевалил за семьдесят человек. В канавах валялись захлебнувшиеся собаки, в кустах висели запутавшиеся мертвые птицы.

– Ах вы, голубушки мои быстрокрылые, – изменившимся голосом пробормотал Распутин, увидев двух дохлых галок с разъявленными клювами, – эго вас природа! Спрятались от дождя, а вас и накрыло. – Он сплюнул в темную маслянистую воду протоки. – Пошто к человеку под крышу не пошли? К человеку надо идти!

Отзываясь на шаги, в траве, в блеклой ряске, в лужах гулко лопались пузыри.

– Это водяные поднимают голос...

Странная, почти неведомая печаль поселилась в Распутине, он размягченно тер пальцами мокрые виски, стряхивая с них пот, удивлялся всему, что видел.

– А тут и вовсе редкостная птица есть, вещая, – говорил он бессвязно, перескакивая с одного на другое, – шур называется. От взгляда умирает, не выдерживает грешного человеческого взора, такая святая птица!

Женщины двигались за ним гурьбой, громко охали, подбирали юбки, смело лезли в грязь и вопросов не задавали – они верили Распутину. Если взглянуть со стороны – ни дать ни взять экскурсовод движется, рукою тычет влево, вправо, купеческие достопримечательности показывает, объясняет, что к чему. Впрочем, когда у Распутина спросили, знает ли он такое слово «экскурсовод», в ответ прозвучало: «Нет».

– Даже никогда не слышал, – добавил он, подумав. Остановившись, Распутин оглядел свою свиту и сказал:

– Про эти места я могу рассказывать много, вот тут все это. – Он больно постучал себя кулаком по груди, стараясь бить в то место, где было сердце, это заметила полная тридцатилетняя красавица, кинулась к Распутину:

– Отец Григорий! По сердцу бить опасно!

– Ничего, ничего, у меня сердце крепкое. – Распутин не боялся за свое сердце, снова стукнул по нему, сильнее, чем в прошлый раз. – Бью как хочу. Я вот о чем желаю спросить, бабоньки. – В Тюмени он мог произнести любое слово, не только безобидное «бабоньки», он не стеснялся в выражениях, считая, что постыдной речи нет, в общении между людьми все годится, всякие слова. – В Покровское как поедem: землей или водой?

– Непонятно что-то, отец Григорий...

– Землей – это, значит, по суше, на тарантасе, по грязи, водой – на пароходе. Как поедem?

– Сами-то, отец Григорий, как предпочитаете?

– Отец предпочитает водой, – сказал Распутин. Взяли билеты на пассажирский пароход и на следующий день были в Покровском.

В Покровском на пристань пришел Ефим Распутин – отец «старца», крепкий, по-распутински кривоногий, с полупьяными зоркими глазами, обутый в кожаные, смазанные дегтем сапоги, – сощурился, глядя, как сын спускает по трапу на берег свою свиту: женщинам было страшно – трап был непрочен, тряся, под досками бурлила нехорошая черная вода, из паровой трубы обдавало гадким, вонючим дымом, охота было чихать и плакать, – женщины повизгивали, ойкали, шумели Григорий страховал женщин вверху, а внизу их ловил, особенно если у кого-нибудь отказывали тормоза, задастый веселый матрос.

– Молодец, что водой двинулся, – сказал отец, – сообразил! Дороги размыты – верхом сейчас не пройти.

– Стерлядь свежая есть? – спросил Григорий.

– С утра была, шесть штук в садке сидело.

– Уху огородить можем?

– А почему бы и нет!

– Давай, батя! – Распутин похлопал отца по плечу и развернул его спиной к воде, направляя в дом. – А я сейчас эту публику определю по фатерам. – Он усмехнулся. – За столом сбежимся! – Распутин повернулся к пароходу, махнул рукой матросам, наготове стоявшим у трапа: – Давай!

Те потащили вниз позвякивающие ящики. Шампанское, мадера, марсала, снова шампанское, еще шампанское. Отец сплюнул на землю:

- Чего кислятины так много повез? Ею только руки ополаскивать!
- Не скажи! – возразил ему сын. Последние два ящика были с водкой.
- Вот это дело! – похвалил отец.

Прошло два дня. Дом у Ефима Распутина был большой, сложен из таких бревен, что стены не возьмешь пушкой, снаряд от столетней твердокорой лиственницы отрикошетит, как от камня, – стоят рубленные дома по двести лет, и ничего им не делается. Пока человек их сам не завалит.

Фрейлина Вырубова дважды бывала у Распутина в Покровском, в дневнике своем отметила, что сибирские крестьяне живут очень зажиточно.

В доме Распутина Вырубова и ее сопровождающие, несмотря на то что места было много, «спали в довольно большой комнате наверху – все вместе в одной комнате, – на тюфяках, которые расстилали на полу. В углу было несколько больших икон, перед которыми теплились лампы. Внизу, в длинной темной комнате с большим столом и лавками по стенам, обедали; там была огромная икона Казанской Божией Матери, которую... считали чудотворной. Вечером перед ней собиралась вся семья и “братья”... все вместе пели молитвы и каноны».

«Водили нас на берег реки, – записала еще Вырубова, – где неводами ловили массу рыбы и тут же, еще живую и трепетавшую, чистили и варили из нея уху: пока ловили рыбу, все вместе пели псалмы и молитвы. Ходили в гости в семьи “братьев”. Везде сибирское угощение: белья булки с изюмом и вареньем, кедровые орехи и пироги с рыбой. Крестьяне относились к гостям Распутина с любопытством, к нему же безразлично, а священники враждебно. Был Успенский пост, молока и молочного в этот раз нигде не ели».

В длинной темной комнате, отмеченной Вырубовой, сели обедать и на этот раз: отец Распутина самолично приготовил уху – терпкую, густую, с перцем и лавровым листом, крепкую, как спирт.

- Ешьте, дамочки! – поклонился он столичным гостям. – У себя в Питербурхе вы такую уху не попробуете!
- Совершенно верно, – согласилась с ним Эвелина.

Прошел день. 28 июня утром Распутины – отец и сын – собрались на завтрак. Завтракали вдвоем – женщины успели поесть раньше.

- Ну, чего там, в столице? – спросил отец.

Это он сейчас, наедине с сыном, был разговорчив, а когда Григория окружали женщины, все больше молчал – замыкался в себе, как темная ракушка, задвигал створки – и на вопросы почти не отвечал, хотя старался быть гостеприимным. В день приезда вон какую уху спроворил! Правда, один раз, разозлившись на сына, он бросил угрюмо: «Будешь докучать – в тайгу уйду!»

– А чего в Петербурге? Да ничего! Петербург цветет и пахнет! – Григорий подцепил вилкой кусок телятины, осмотрел.

- Чего смотришь? Еда – высший сорт.

– Петербург тем хорош, что в нем много ученых людей. Один ученый муж рассказывал, что пока теленок либо поросенок находится в брюхе у матки, то собирает все яды. В организме, отец, полным-полно ядов, и все куда-то деваются – одни с мочой выходят, другие с этим самым. – Распутин легонько хлопнул себя по заду. – Но если в матке заводится детеныш,

то детеныш все это вбирает в себя. Сказывал этот муж, что молочной телятиной можно отравиться.

– Дурак он, твой муж, – угрюмо пробормотал отец, – и Петербург твой – город дурацкий, если в нем такое дубье водится!

Распутин на гнев отца не обратил внимания, сказал:

– Кому дурак, а кому не очень. Я, например, этого человека уважаю.

– Твое дело! Вот скажи лучше, что про войну талдычат?

– Войны не будет! – твердо произнес Распутин.

– Врешь ты все!

– Тогда зачем спрашиваешь, если я вру?

– Война по небу носится, ее, как ворону, уже стрелить можно.

– Ну и стрельни, чтобы ее не было. Ты ведь не за войну?

– Сдурел, что ли? – Отец пожевал губами, выдернул изо рта гибкий, будто тростинка, рыбий хвостик. – Все же интересно знать, что в Петербурге по этому поводу думают.

– Я же сказал – войны не будет!

– А ты, Гришка, совсем в столице мохом покрылся – вроде бы лощеный сверху, в красной рубахе, в ухо золотую серьгу вставил – пусть, мол, поблескивает, – а нюха никакого нет. Ты эту серьгу лучше в нос вставь, чтоб чутье появилось. А то у тебя ноздри дюже туго забиты. И уши забиты – не слышишь ни черта!

– Это не серьга, – спокойно сказал Распутин, сдернул с уха блестящее сердечко, – это с зажимом, как ее... ну как штрипка, чтобы белье вешать. Для серьги дырка нужна. Дырку колоть я не намерен.

– Совсем цыганом стал! – недовольно проговорил отец.

– Если это в соответствии с жизнью, то почему бы не стать?

– Дурацкое дело нехитрое.

– Войны, повторяю, не будет.

– Ты – Генеральный штаб и Государственная Дума в одном лице. Мы – Николай Второй!

– Папашу не трожь! – жестко проговорил Распутин.

– Это с каких же пор он стал тебе папашей?

– Я сказал, не трожь! – Распутин приподнялся на лавке, глаза его сделались яростными.

– Ладно, – примиряюще махнул ладонью отец, – еще не хватало в родном доме сцепиться.

Григорий тоже быстро остыл, он силой осадил себя – все-таки действительно, дом отцовский, родной, когда находишься в родном доме, то соблюдай правила, как нигде, – хоть Григорию скоро пятьдесят, трое детей скулят, с тоскою глядя на будущее, жена – уже старуха, все-народная известность и почет при нем, а отец Ефим не пожалеет – врежет и не зажмурится. Григорий предпочитал не связываться с ним – все равно не справиться. Отец – из тех, кто никогда не сдается, – почувствует, что не одолеет, то за оглоблю схватится.

– Войны не хотелось бы, очень много хватил русский мужик от нее в четвертом году, – «старец» вздохнул, – свои кишки на штык намотал. Германец – не японец, он посильнее, а раз так, то, значит, еще больше кишок на штык будет намотано.

– Но ты же говоришь, что война обойдет нас, – все сделаешь для тово...

– От своих слов я не отказываюсь. Да вот, папаша с мамашей... – Григорий бросил взгляд на стену, где в нарядном киоте висел фотографический портрет царя с царицей. – Обложены своими приближенными мертво, не вздохнуть, и приближенные все давят, давят, не стесняясь, все за войну – и агитируют за нее, и агитируют, глотки рвут, а почему, спрашивается, агитируют? А?

Отец молча приподнял плечи.

– Больше всего стараются великие князья – царицы родственники. Почему, спрашивается?

– Чего ты меня пытаешь?

– Да потому, что купленные. Англичане их купили, французы купили – золотом каждого обсыпали с макушки до штиблет, вот они и держат папу в кулаке, к войне его подводят. И маму в кулаке держат, прижимают ее ейным же прошлым – немка, мол, немецкие интересы соблюдает, русского мужика до германца не допускает. Русский дядя, мол, посчитаться хочет, горло немцу прогрызть готов, а она не допускает, поскольку сродственница. Приглядывают за ней, письма перехватывают. Она сейчас даже письма боится посылать, вот до чего дело дошло!

Григорий замолчал. Отец тоже молчал. Было слышно, как на реке гудел пароход, – боясь врезаться, спугивал с пути рыбацкие лодки, гудки были частые, тревожные, злые.

– Будто по покойнику, – сказал Григорий.

Отец снова промолчал.

– В общем, не жизнь у них, а невесть что, – вернулся сын к старому, – хотя и цари. Я им не завидую. Когда в их доме бываю – радуются.

– И как же ты войну отвадишь?

– Знаю способ, – уклончиво ответил Григорий.

Он твердо верил в свои способности – не носить ему своей фамилии, если он не уговорит царя не ввязываться в это дело. И царь послушает его – своих дядьев, племянников, братьев разных во втором и в третьем колене, великих князьев, он тоже, конечно, послушает, но только для блезира, а поступить поступит так, как велит Распутин. Если царь заартачится, Распутин позовет на помощь маму, и та быстро вправит муженьку мозги.

Против войны выступали и два банкира, ссужавшие Распутина деньгами без всяких расписок, Рубинштейн <см. *Комментарии*, – Стр. 110. *Рубинштейн Дмитрий Львович...*> и Манус, некоторые промышленники, фрейлина Вырубова Анна Александровна – ближайшая приятельница императрицы. Шпор-мер Борис Владимирович, многие другие – весь распутинский кружок.

С тяжелым скрипом открылась массивная дубовая дверь. Распутин обернулся и увидел Матрену.

– Чего тебе?

Матрена быстро-быстро, словно зверек, облизала губы, за стол со взрослыми ей садиться еще рано – это уже по петербургской норме, по сибирской ей вообще нечего было делать за столом; в селе Покровском женщины ели отдельно от мужчин. Распутин поймал ее заинтересованный взгляд и взял из красной, отлитой из дорогого северного стекла, с клеймом «Новгород», две конфеты – шоколадные плоски, завернутые в серебряную бумагу.

– На! – Поймав неодобрительный взгляд отца, сказал: – А как же! Ох и натерпелся же я из-за нее! Но ничего – мы всех объедем на кривом мерине и победим. – Он дернул Матрену за тощую твердую косичку, перевязанную ботиночным шнурком. – Ну так чего, Матреш?

– Там, папаня, мужики пришли.

– Зачем, не сказали?

– Не-а!

– Передай им, что сейчас выйду.

Матрена убежала, оставив дверь открытой.

– Опять чего-нибудь клянчить будут. – Распутин вздохнул. – Деньги или новую пристань на реку.

Отец молчал. Распутин проглотил еще кусок телятины, запил мадерой, повозил языком во рту, словно бы совмещая вкус телятины с вкусом вина, засмеялся облегченно:

– Люблю поесть. Не ем только вареных огурцов, а так трескаю все что угодно – селедку с джемом, вареники с горчицей, мясо со сметаной. – Он хлопнул себя по тощему животу. – Все сжигает! Хорошая топка! Желудок как у утки. Утка может проглотить стальной шарик из подшипника и переварить его. Слышал об этом?

– Пустое! – мрачно проговорил отец.

– Но зато интересно! – Распутин встал, пальцами ухватил еще пару кусков телятины, сложил их на манер блина, сунул в рот. – Ладно, пойду узнаю, чего надо односельцам.

Улица ослепила его светом – солнце старалось вовсю, земля парила, было душно, как перед грозой, река затянута зыбкой кисеей, на теплых стенах домов сидели оводы и мухи. С мужиками, распустив мокрые губы, беседовал Митька – сын, старший среди распутинских детей.

– Здорово, мужики! – Распутин спустился с крыльца, пошел по кругу, пожимая руки.

– Здорово, коль не шутишь, Григорий Ефимов! Давненько у нас не был!

– Ну уж и давненько! Весною, в марте, был. – Распутин сощурился – на ярком солнце все цвета поблекли, попрозрачнели, теней не стало, они исчезли, из глаз покатались слезы. – Ну и солнце! – Распутин покрутил головой. – Как в этой самой... в Африке!

Земля просохла, на улице поднимались рыжие столбики пыли – с реки приносился ветер, играл, гонял кур, задира хвосты бычкам, и те ошалело таращили глаза, не понимая, что за невидимая сила крутит им репки. В воздухе металось что-то хмельное, веселое, пахло праздником, хотя никаких праздников в ближайшие дни вроде бы не предвиделось. Распутин угадал – мужики беспокоили его насчет новой пристани, да еще хотели, чтобы Гришка их похатайствовал насчет парохода – слишком редко пароход останавливается в Покровском, даже обидно, ведь Покровское – село большое, старое, уважаемое. В общем, Григорию Ефимовичу надо переговорить с дирекцией Западно-Сибирской паровой компании...

– Ладно, переговорю, – пообещал Распутин, – чего для односельцев не сделаешь! А то вон со мною бабешки столичные приехали, пальцем соплю вытирать не приспособленные, так их со сходни чуть ветром не посшибало, только голубые панталоны мелькали... Хорошо, внизу матрос ловил. И еще хорошо, что паренек крепким оказался, не то бы быть беде.

– Парень тот наш был, из двора Малофеевых, бедовый... Баб, как и ты... – Говоривший посмотрел на Григория, обтер рукою рот. – Сказывают, что так! Мишкой парня зовут.

– Не признал, – сказал Распутин, – видать, стар стал. Хотя все работает пока, как у молодого, – и то, что выше пояса, и то, что ниже...

– Да он тебе все равно незнаком, Григорий Ефимов, Малофеевы из приезжих, не коренные.

Здесь, в Покровском, Распутин чувствовал себя не то что в Петербурге, тут он был среди своих, тут он отдыхал – телом отдыхал, душой, головой, сердцем, кровью своей, тут он восстанавливался, а Петербург, он сжигает человека, нервы становятся прелыми, гниль одна, а не нервы, от Петербурга и от беспокойства тамошнего у Распутина даже зубы начали сыпаться.

И спать в Питере перестал – прикорнет малость, забудется, но это только до первого сна, как только увидит первый сон, лицо какое-нибудь знакомое – сон сразу уносится прочь, будто ветер, который задирает хвосты бычкам, и приходится вставать.

Случалось, Распутин всю ночь блуждал по комнатам а кальсонах, шлепал босыми ногами по полу, разговаривал сам с собою, смеялся и потом ловил себя на том, что разговаривает с тенями, хохочет невесть отчего, хотя надо бы не хохотать, а плакать. Нет, правильно он решил – из Петербурга вон! Надо бежать на волю, на природу, на землю, в сирень и смородиновые кусты. Добили журналисты, добили просители, добили враги. Пуришкевич, Горемыкин, великие князья, Илиодорка... Тьфу, и этот в голову лезет, ни дна ему, ни покрывки! Илиодорка спекся, хотя и пробует поднять голову – говорит, что пишет книгу, про него пишет, про Распутина, ну, пусть себе пишет в своей ссылке, в глуши!

Вспомнив Илиодора, Распутин помрачнел, покрутил с досадой головой и, чтобы хоть как-то развеяться, сказал:

– Ладно, мужики, пойдем на берег, еще раз посмотрим, что мы имеем с гуся.

Громкоголосой шеренгой, задерживаясь около ям и выгоняя оттуда кур с поросятами, двинулись к реке.

– А ведь признайся, Ефимыч, скучаешь по нашим местам? – спросил один из мужиков, глазастый, прозорливый – он как в точку попал.

Распутину сделалось неприятно – не хотелось признаваться, что тянет сюда, – слишком велика честь для здешних мужиков.

– Нет, не скучаю, – сказал он, – некогда!

– И во сне Покровское не видишь?

– Не вижу. Некогда, я же говорю! Да и сны что-то перестал видеть, – соврал Распутин. – Стар сделался. Старость – не радость!

– Не прибедняйся! Друзьяки в столице есть?

– Без них никак нельзя.

– Небось все больше по дамской части?

– И это есть!

В конце улицы показалась одинокая женщина, одетая в черное, закутанная в платок. Распутин сощурился:

– Кто это?

– Приезжая одна. То ли побирושка, то ли больная, а может, монашенка. Молится и рыбий жир пьет. Доктора ей рыбий жир прописали.

– А чем болеет?

– Не говорит.

– Зовут как?

– Черт ее знает! Баба! Баба, она и есть баба! Так ее и зови – баба! Не ошибешься!

– Баба бабе рознь, – назидательно произнес Распутин, – это я хорошо знаю.

У него снова потемнело, сделалось узким, длинным лицо, борода встопорчилась неопрятной метлой, грудь опала, шаг сделался медленным – опять почему-то вспомнился Илиодорка, ни дна ему, ни покрышки! Под Распутиным качнулась, поползла в сторону яркая земля, перевернулись вверх ногами деревенские бычки, и здоровенная, с отвислым животом свинья, задумчиво разглядывавшая себя в луже, перевернулась, но не пролилась плоская блестящая река. Распутин ухватился за плечи двух мужиков, идущих рядом, чтобы не споткнуться, не упасть, и глухо выругался.

– Ты чего, Ефимыч?

– Одну погань вспомнил. Мужики дружно засмеялись.

– Нашел о чем вспоминать! Ты лучше нас почаще вспоминай, да новую пристань, которая нам позарез нужна, – и тебе и нам лучше будет.

– И газетчики – мразь! – подумав о Ванечке Манасевиче, сказал Распутин, потом вспомнил приятного сероглазого господина, ехавшего с ним в одном вагоне, и угрюмо добавил: – Не все!

Мужики снова засмеялись.

– Ты, Григорий Ефимов, так чокнешься! За тобой глаз нужен. Больно нервный стал!

...В день отъезда Распутин за обедом сказал Лапшинской:

– Знаешь, на всех этих писак я плевал с высоты самого большого телеграфного столба в России!

Лапшинская согласно кивнула в ответ, хотя про себя не была согласна с Распутиным – не плевал он на журналистов и никогда не сможет плевать, поскольку знает: не он их, а они его заплюют. У них силы больше. Да и натура у Распутина не такая – всякое худое слово оставляет в его душе дырку. Несколько месяцев назад он велел Лапшинской собирать все газетные вырезки – даже совсем маленькие, в две строчки заметульки, наклеивать их на бумагу и держать в отдельном месте.

Когда у Распутина выпадало свободное время, он садился в кресло, вытягивая ноги, закрывал глаза и приказывал Лапшинской:

– Читай!

Лапшинская читала ему заметки, а Распутин, внимая голосу, шевелил губами, словно бы повторяя за ней текст. Иногда, останавливая, просил:

– Перечитай еще раз!

Либо недовольно говорил:

– А эту заметку изыми! В ту ее папку.

«В ту ее папку!» – означало переместить материал в папку с неприятными вырезками, где Распутин ругали. К ней Распутин прикасался редко, требовал, чтобы Лапшинская прятала ее подальше, – папка одним только своим видом портила «старцу» настроение.

Прослушав несколько заметок, Распутин вздыхал:

– Такие большие дела в России, такая она сама большая, а вон глянь, только мною и интересуются, только мною и занимаются! Тьфу!

В день отъезда журналисту, который особенно настойчиво домогался его, Распутин прокричал по телефону с неприятным слезным надрывом:

– Коли хочешь видеть меня для пера – не приезжай, нечего тебе здесь делать, коли ежели для души, то заглядывай! Все понял, милый?

А вот Александр Иванович из сдержанной газеты «День» понравился ему с первого взгляда – спокойный, с вдумчивым, необманивающим взглядом, душевный, обходительный. Приятный человек. Журналист журналисту – рознь. Такой человек очень бы пришелся к месту в газете, которую Распутин надумал издавать.

– Вот, черт поберит! – с досадою пробормотал он. – Упустил! Не взял ни адреса, ни телефона. Забыл!

– Чего упустил, Ефимыч?

– Да журналиста одного. Очень мне понравился. С бабами своими зателепался, и-и... – Он отпустил плечи мужиков, за которые держался, и развел руки – земля вроде бы больше не кренилась, не подпрыгивала под ним, вела себя спокойно. – И упустил. Хотел к себе на работу переманить.

– Ты что, Ефимыч, завод надумал приобрести? Иль газету, раз журналистом заинтересовался?

– Кое-что надумал.

– А грамотешка?

– Грамотешки, ты прав, у меня маловато. Но подучусь ведь. Другие учатся – ничего! В семьдесят лет писать начинают, а я что, козел с капустой? У меня что, кроме шерсти и рогов, ничего нет? А? Уж извините, мужики, я никогда козлом с пустой черепушкой не был.

Тоненькая женская фигурка, одетая в черное, медленно приближалась к ним. Распутин снова обеспокоенно напрягся: где же он видел эту женщину? А ведь он ее точно видел! Видел именно эту фигуру – тонкую, по-кавказски гибкую, черную. Может быть, в Ялте среди крымских татар? Либо на Кавказе, – на Минеральных Водах среди местных абречек? Или все-таки в Петербурге? Струйка пота, возникшая у него на виске, тихо скользнула вниз. А это что такое? Он же никогда раньше не потел, даже с жестокого похмелья... Неужто что-то отказало в его организме?

Лоб тоже сделался мокрым.

«Солнце во всем виновато, жарит, парит – душно, гроза будет, потому и потею, – попытался Распутин успокоить себя. – Тьфу, как в бане... Сумасшедшее солнце!» Уши ему словно бы кто-то заткнул ватой, он перестал слышать, в теле возникла боль, потекла в кости, в жилы, в мышцы.

– Ты чего, Ефимыч? – толкнул Распутина один из мужиков. Распутин не ответил – не услышал мужика.

От черной женской фигурки исходили какие-то опасные токи, Распутин ощущал их почти физически, пробовал противопоставить этим токам свои, соорудить заплотку, но этого ничего не получилось. В мозгу мелькнула мысль: «Надо бежать», но он никуда не побежал – да и никогда не бежал бы, продолжал идти навстречу женщине в черном. Та приближалась, была уже совсем недалеко. От горячей дороги неожиданно потянуло холодом. «Если она сейчас попросит денег – дам ей денег, – решил Распутин, – все, что есть в карманах, то и отдам. Если захочет быть ближайшей подругой Ани Вырубовой или фрейлиной мамыши – будет подругой и фрейлиной, если она попросится на курорт, в Германию, например, в этот самый Баден который – поедет в Баден. Это судьба!»

Распутин был недалеко от истины.

Пробки в ушах пробило, он стал слышать – услышал собственные шаги, смех мужиков, клекот дерущихся петухов и пароходный рев на реке.

«На реку бы, прочь отсюда, от людей, – бессильно подумал он, – отдохнуть бы, забыться. Но не дано, – понял он в следующую секунду, – даже если я спрячусь в воде, в земле, в воздухе – все равно найдут. Везде найдут».

– Григорий Ефимович, у меня к вам прошение, – еще издали произнесла женщина низким, чуть надтреснутым голосом, подтянула платок снизу к глазам, закрывая нос, намазанный какой-то мазью, поклонилась, – не откажите!

– Давай. – Распутин протянул руку. – Давай прошение.

Та достала его из-под шали, это был лист хорошей плотной бумаги, сложенный вдвое. Распутин взял его, развернул. Прощение было написано крупными буквами, тот, кто писал, знал характер «старца» – Распутин любил, когда писали крупными буквами. Только вот из текста он ничего не понял – слова просто не проникли в него. Распутин махнул рукой, показывая, что письмо прочитает потом, дома, если он что-то не разберет, поможет дочка – она грамотная, Матреша, языки пытается учить...

Он хотел сказать, чтобы женщина приходила к нему домой, отметил, что она, несмотря на жару, обута в валенки, но ничего не сказал – валенки удивили его. «Значит, совсем худо этой бабе, – подумал он, – раз в катанках ходит, холод в кости уже проник. Не жилица... Но где же я тебя, мымра черемуховая, ранее видел, а?» Женщина неожиданно резким и сильным движением выхватила из-под шали, откуда она только что достала прошение, нож. Распутин успел заметить, что это был прямой зазубренный тесак, старый, с сильно проржавевшим лезвием, отшатнулся в испуге от ножа, но женщина опередила его.

Она отбила в сторону Митю, стоявшего перед отцом, и стремительно, будто птица, вызвав оторопь у мужиков, кинулась на Распутина.

Тот выронил бумагу, охнул, но второй попытки уйти от ножа уже не предпринял, глаза у него потухли, он разом увял, словно из него, как из проткнутого шарика, разом вытекла жизнь. Ему сразу все стало ясно – и почему он выиграл на ипподроме, и почему его втягивали в разговоры о войне, и почему его дом на Гороховой осаждали странные нищенки, и отчего несколько минут назад так странно плыла земля под ногами...

Внутри мигом возник холод, но он не был похож на испуг, это было что-то другое, совершенно неведомое, с чем Распутин раньше не сталкивался. Вместо того чтобы прикрыть живот, защититься, Распутин в странном движении раскинул руки, обнажился – и действительно почувствовал себя совершенно обнаженным, без одежды – и таким обнаженным ухнул в пустоту.

Жаркое, красное, пахнущее свежей кровью пламя вспыхнуло перед «старцем», загорело мир, проникло внутрь, вызвало оглушающе резкую боль – женщина ударила его ножом в низ живота, целя в лобок, но, понимая, что лобковую кость ей не пробить – для того чтобы

пробить, нужен был очень сильный удар, а она была слаба, – взяла чуть выше, и нож с булькающим звуком вошел Распутину в живот.

У Распутина подогнулись ноги, он медленно пополз вниз, на землю – оторопевшие мужики подхватили его. Распутин молча повис у них на руках. Из рта у него потекла розовая слюна. Женщина откинулась назад, выдернула из-под шали пузырек – она все прятала под шалью, как в кладовке, – вцепилась зубами и пробку, но выдернуть ее не успела – Митя закричал громко, по-бабьи слезно: «А-а-а!» – и ударом кулака выбил у нее пузырек; он пока не понял ничего, кроме того, что эта женщина хотела убить его отца, одновременно с ударом постарался заметить место, куда улетел пузырек, – почему-то эта деталь показалась ему важной, прокричал еще что-то бессвязное, лишенное слов, пузырек гирькой нырнул в пыль, над ним взметнулось желтое неприятное облачко, в ту же секунду к пузырьку кинулись два мужика, растоптали его каблуками, на поверхности пылевой простыни проступило мокрое пятно, одиноко блеснуло несколько острых стеклянных осколков.

У Мити неожиданно исчез голос, вместо голоса из глотки потекло сердитое зверушечье сипение, он кинулся к отцу и остановился в страхе: ноги отца были в крови – из Распутина почему-то сразу, в несколько секунд, очень быстро вылилось много крови. Митя прижал руки к лицу, не видя и не слыша уже ничего. Он даже не видел, как мужики скрутили женщину в черном.

Распутину на руках понесли в дом – «старец» был уже без сознания, он прижимал к животу руки, пачкался собственной кровью и глухо стонал. У Мити вновь прорезался голос – незнакомый, чужой, наполненный слезами, он икнул и проговорил надорванно, ни к кому не обращаясь:

– Врача бы! А?

– А! – крикнули мужики, неся Распутину.

Один из мужиков забежал вперед и, перевернувшись на ходу, заговорил, стараясь, чтобы было видно лицо Распутина:

– Ефимыч, ты слышишь меня? Меня слышишь? Ты это, Григорий Ефимов... ты руки потеснее к ране прижимай, чтобы кровь не текла, ты это, Григорий Ефимов... кровь утихомирай! Из тебя крови дюже много выбулькало. – Мужик потянулся рукой к животу Распутина, остановился боязливо, и один из несших «старца» – лохматобровый насупленный медведь – гаркнул предупреждающе:

– Цыц!

И сердобольного мужика будто ветром сдуло, как в плохой сказке про нечистую силу: был человек и – фьють! – нет его.

– Врача бы! А? – продолжал бессвязно бормотать Митя. Он шел, слепо расставив руки, следом за мужиками, мешая им нести отца, скуля и шатаясь.

– Замолчи ты! – прикрикнул и на него мохнатобровый медведь. – Тошно!

Но Митя не слышал его.

– Врача бы! А? – скулил он.

Первый врач приехал в Покровское лишь в два часа дня, прискакал на взмыленной лошади – хорошо, что был умелым наездником, и если бы он не появился либо запоздал на пару часов, то, возможно, Распутину не было бы уже и в тот день, но он успел, врачу, оказывается, пришлось сменить двух лошадей – он их почти загнал, приехал растрясшийся, усталый и сразу кинулся в комнату к раненому, понимая, что надо спешить. Промыл марганцовкой разрез, сделал укол и по сукровице странного цвета, сочащейся из живота, по запахам и кусочкам кала, которые он вымыл из раны, понял, что у Распутина в нескольких местах разорван кишечник и продырявлен мочевого пузырь. Нужно было срочно делать операцию.

Но как делать операцию, когда он один, без ассистентов, без помощников? Хирургический инструмент у него имелся, врач взял с собой и разные ванночки для обеззараживания

скальпелей, тампоны и лекарства – самые современные по той поре. Лекарств и бинтов он привез достаточно, но ввязываться в операцию одному было рискованно. А вдруг он зарежет Распутина? Да его же привяжут за ноги к двум наклоненным березам и потом отпустят стволы. Березы разорвут его пополам.

Он решил немного подождать – о ранении Распутина оповещены Тюмень и Тобольск, Ялуторовск и пароходство, еще есть своя собственная медицина, поэтому подмога должна была явиться очень скоро, и тогда уже можно будет и консилиум собрать, и операцию делать. Доктор надеялся не напрасно – прибыли два врача из Тюмени, через полчаса еще один, запаренный, покрытый дорожной грязью до макушки, очень сердитый, с орденом, болтающимся в разрезе рубашки, – из Тобольска, имевший звание профессора и большую практику.

Распутин лежал без сознания, с открытым ртом и плотно сжатыми зубами. Зубы у Распутина, несмотря на то что начали выпадать, были очень молодые, чистые, без единого пятнышка порчи.

– Ну-с?! – вскричал приезжий профессор, выколупнул из уха жирный ошметок грязи. – Кто его так? Выковырнул еще один ошметок и потребовал: – Температура?

– Сорок!

– Сердце?

– Работа сердца ослабевает.

Профессор осмотрел развороченный живот, ткнул пальцем в сукровицу, понюхал и поморщился, лицо его утяжелилось, обвисло бульдожьими крыльями

– Мда-а... А не слишком ли много мы возьмем на себя, если будем делать операцию? – проговорил он. – До летального исхода остался один час. Распутина оперировать нельзя. – Он повернулся к Распутину, послушал дыхание. – Уже белой простыней можно накрывать.

Тюменские врачи – оба молодые, неопытные, не набившие себе мозоли на пальцах ланцетами – возразили: надо попытаться спасти «старца».

– Угу! – хмыкнул профессор. – И сесть в тюрьму. В Петропавловскую крепость. Мало вы, оказывается, господа, каши ели в юности. И мало вас били в детстве – боевых шрамов не видно! – Тобольский профессор думал поколебать, сшибить спесь с молодых людей, но не тут-то было – тюменцы оказались упрямыми и потребовали операцию.

– Он угасает, – горячились тюменцы, поглядывая на Распутина, которого сиятельный мастодонт уже хотел накрыть белой простыней, – дальше – больше... А пока есть десять шансов из ста.

– Даже если бы было тридцать шансов из ста – все равно рисковать нельзя. Себе дороже. Жалко головы ваши. Это же Распутин! Мне мою голову, – профессор постучал себя кулаком по лысому розовому темени, – например, жалко. Нас же затаскают! Операцию делать нельзя. Поздно!

– Операцию надо делать... Несмотря ни на что, – настаивали тюменцы.

В это время Распутин открыл глаза и проговорил очень отчетливо, громко – почти чеканно:

– Спасите меня!

– Вот видите! – дружно вскричали тюменцы – они умели вдвоем говорить в один голос. – Надо идти на риск!

– Нет! – твердо заявил тоболоец. – Или я умываю руки!

Пульс у больного становился все слабее, он уже едва прощупывался, иногда пропадал совсем, рука Распутина сделалась безжизненной, холодной, ногти посинели – жизнь действительно уходила из этого жилистого, крепкого человека. Тобольской знаменитости удалось сломать молодых тюменских коллег – они тоже начали ждать смерти Распутина и сообщили об этом окружающим. Ничего, мол, уже не спасет «старца», ничего не прослушивается и не просматривается, часы Распутина – да какое там часы – минуты! – сочтены.

Покровское – село, в общем-то, людное, но никогда не переполнявшееся, вдруг стало походить на море – отовсюду потянулись люди, они слетались сюда, словно мотыли на свет. По широкой пыльной улице ползли калеки с отрезанными по самый пах ногами – герои Русско-японской войны, увешанные крестами и медалями, вереницей, похожей на отступающую армию, тянулись побирušки, появились цыгане и остяки с гнойными глазами, нарядные, соблюдающие себя в чистоте богомолки и удалые ребята – косая сажень в плечах, с разбойными глазами и смоляными буйными кудрями, объявившие себя родственниками Распутина, – все ждали вестей, волновались, бузили и тут же пристыженно утихали; из ближайших городов приехали чинные, благородные барышни, отдельно держались дамы, прибывшие с Распутиным из столицы, – они плакали, но быстро затихали и принимались дружно успокаивать тридцатилетнюю красавицу, которая никак не могла совладать с собою, все норовила упасть головою в пыль, и женщинам было трудно держать на весу сильное, непокорное тело – происходило то, чего Покровское еще не видело.

– Это все Илиодор, это он... это он погубил отца Григория, – стонала тридцатилетняя красавица, поливая слезами землю. Она, вполне возможно, была недалеко от истины, – то все Илиодор, это он подослал подлую бабу с кинжалом!

Старый кинжал тот – ржавый, грязный, в зазубринах и выковыринах, наполовину съеденный временем, – был обычным штыком от немецкой винтовки, невесть как попавшим в Россию; вполне возможно, что на его счету была не одна сгубленная православная жизнь. Подлая бабенка купила его из-под полы на рынке, попыталась наточить на камне, но изъязвленное железо ножа было прочным, слабым рукам не подчинялось – от заточки остались едва приметные следы, был нож опасен не менее всякого ядовитого орудия – ржавь, проникшая в кровь, действовала как отравка: женщина в черном достигла своей цели.

– Кто хотел убить Распутина-то?

– То ли Хиония, то ли Феония – зовут ее как-то странно, вроде бы и не по-нашенски.

Попытку убить Распутина совершила крестьянка Сызранского уезда Симбирской губернии, проживавшая последнее время в Царицыне и зарабатывавшая на жизнь швейным делом – Феония Кузьминична Гусева, некоторые газеты с первых же репортажей стали величать ее Хионией.

Деревенский староста выделил место, в котором могли бы работать следователи, дознаватели, прочий высокий люд, который, надо полагать, прибудет сюда аж из самого Петербурга (не говоря уже о губернском городе Тобольске). Закуток, имевшийся при доме полицейского урядника Швалева, был укреплен и преобразен в сельскую тюрьму, куда Гусеву и поместили на время.

Впрочем, из Тобольска вскоре прискакал полицейский чин, бледный, потный, с порванным в проеме мундиром, и первым делом арестовал самого урядника, упек его в кутузку за то, что «допустил убийство», срок ареста определил небольшой, но обидный – неделю, следом арестовали старосту Шокирова и десятского Кодунина – за то, что «не предупредили покушения». Срок дал побольше – две недели.

В Покровское, переполненное народом, прибыло несколько полицейских нарядов, поговаривали даже о том, что прискачут казаки, целый эскадрон.

Распутин по-прежнему находился без сознания, тяжело дышал, в крепкой груди его что-то ржаво поскрипывало, булькало, запавший рот стал темным. Врачей – особенно тобольского профессора – беспокоило то, что он никак не может умереть, как и то, что Распутин никак не может прийти в сознание – перед смертью люди всегда приходят в себя. Организм этого человека сам защищал себя, если бы Распутин переносил боль, находясь в сознании – из раны вместе с сукровицей уже потек гной, воспалительные процессы происходили стремительно, – он давно бы умер от боли, сердце не выдержало бы, лопнуло. Иногда раненый что-то произно-

сил, но что конкретно – не разобрать, слова срывались с губ мятые, чужие, словно бы Распутин пытался объяснить на неведомом языке.

– Надо же, организм какой дюжий! Будто из железа, – удивлялся тобольский профессор, – до сих пор не умирает, он еще три часа назад должен был умереть, а не умирает.

Профессор щупал пульс, слушал грудь Распутина, тыкая в нее плоским эбонитовым пяточком трубки, вглядывался в рану, удивленно качал головой, потом переводил взгляд на окно, где толкался, шумел народ. Отметил, что среди шумевших много калек с Георгиевскими крестами.

– Наград – как на царском балу, – сказал он, – в глазах бело.

– От чего бело?

– От серебра.

Появилось несколько стражников на конях. Стражники рассекли, растолкали людей, отжали от распутинского дома. Гул за окном угас, слышны были только выкрики стражников да хлесткие удары плеток.

– Теперь поспокойнее будет, – удовлетворенно проговорил профессор.

Тюменские врачи промолчали. Об операции они уже не говорили, маститый тоболовец убедил их, что Распутин умрет под скальпелем и тогда им придется отвечать за «старца». А кому охота ставить свою молодую жизнь в зависимость от старой рухляди? Тюменцы замкнулись, побледнели; судя по их лицам, они были сами себе противны.

Распутин умирал.

Первым о беде Распутина в Петербурге узнал министр внутренних дел Маклаков – ему прислал телеграмму тобольский губернатор. Маклаков дал немедленное распоряжение собрать все, что есть о Феонии Гусевой, и вообще, что она делала в последние годы и особенно в последнее время. Через несколько часов у него на столе лежал листок бумаги. «Феония Гусева. С 3 марта находилась в Ялте вместе с Распутиным, следила за ним, вместе с Распутиным приехала сюда и из Санкт-Петербурга, в одном поезде. В последний раз в полицейских списках Санкт-Петербурга значится в декабре 1911 года. Место ее последней прописки – ночлежный дом Маконина на Обводном канале. Пользовалась уважением. Благонадежна. Есть деньги, и немалые. На почве истощения случались припадки. Богомольная. Твердила, что должна избавить людей от лжепророка».

Маклаков трижды перечитал тот листок, соображая, надо ли о происшествии докладывать государю или подождать, в конце концов решил, что можно и повременить: ранение Распутина – это не расстрел рабочих на золотых разработках и не волнения астраханских татар – Распутин подождет.

– Значит, живет эта Феония в Царицыне, а в столице бывает лишь наездами? – задумчиво проговорил Маклаков, глядя на жандармского полковника Васильева, составившего ему справку. – Значит, гастролерша, значит, актриса?

– Отчасти, ваше высокопревосходительство!

– А с этим самым она никак не связана? Ну с этим самым... – Маклаков пощелкал пальцами.

– С Илиодором? – догадался Васильев.

– Вот-вот. С этим рыцарем из навозной кучи.

– Интересное предположение. – Васильев оживился. – Надо будет проверить. Говорят, она больна...

– Что за болезнь?

– Сифилис, ваше высокопревосходительство!

Маклаков поморщился. Снова пощелкал пальцами.

– Если она связана с Илиодором, то нити поведут в церковь. От Илиодора – к Гермогену и далее. Ну-ну. На Илиодора что мы имеем?

– Полное досье.

– Подготовьте!

А Распутин, лежа у себя в доме на широкой кровати, украшенной серебряными шишаками, никак не мог умереть. Ему было больно, но он не чувствовал боли, ему не хватало воздуха и тепла, но он не чувствовал, что воздуха и тепла не хватает, все мирское, обыденное отдалилось от него, он находился где-то далеко, в горних высях, освещенных слабым золотистым светом, он видел Бога, видел ангелов, слушал музыку и тихо умилялся. Умилялся тому, что еще существует, невесомости своей, способности летать и видеть так близко святые лики, которые раньше видел только на иконах.

Из груди его доносился слабый, затухающий хрип – похоже, в Распутине все уже отказало, кроме сердца, только сердце, жилистое, мускулистое, сильное, не хотело сдаваться, гоняло беспрестанно кровь, боролось, требовало жизни – не хотело останавливаться, и Распутин хрипел, зажимал зубами язык, до крови кусал темные тонкие губы и не умирал – он никак не мог умереть, рад был бы умереть, но не мог...

Толпа, наводнившая Покровское, прослышав, что Феония Гусева содержится в обычной «холодной» – закутке, куда сажали провинившихся по-мелкому мужиков, должников и крикунов, с долгим мстительным воем кинулась туда, чтобы свести счеты с «поручительницей», но была отбита конными стражниками – хорошо, что они прибыли вовремя, задержись они на пару часов и не окажись у дома старосты, Феонию просто бы разодрали на части, втоптали, вбили бы по косточке в землю.

Стражники арестовали девять человек наиболее крикливых и буйных, загнали их в пустую избу, в которой коротала свои последние годы одинокая бабка. Скоротав, она ушла на покой, и изба опустела, сделалась холодной, и сразу в ней запахло свалкой, плесенью – нежилой дух быстро изгоняет из домов дух жилой. На крыльцо посадили двух полицейских с револьверами и саблями – охранять буйную компанию, но компания оказалась не буйной, совсем напротив – очень скоро она взвыла от страха.

В пустом доме том что-то посвистывало, шевелилось, в воздухе носились тени – будто жили, веселились летучие мыши, но мыши не были видны, пол скрипел и прогибался сам по себе, хотя по нему никто не ходил, из-за стен доносились глухие голоса, шепот, а на холодной, припахивающей гнилью печке мокрел крест. Прямо на известковом печном боку, словно бы проступая из кирпича, из глубины, из стылого нутра, искрилась свежая роса, пот. В виде аккуратного креста. Известка в этом месте сделалась иссиня-темной, вздулась больной коростой, но не облетела, не облупилась – держалась.

Когда арестованные разглядели этот крест, то в страхе отползли от печи подальше, к двери, потом начали долбить в дверь кулаками – уж больно тюрьма их оказалась темной, бесовской, связанной с нечистой силой. Явно Распутина хотела уничтожить нечистая сила – в слабое тело Феонии Гусевой поселился черт-убийца. Выходит, правы они были, когда хотели уничтожить Гусеву, и не правы стражники...

Тут в избе что-то заухало, засипело, будто огонь в паровозном котле, стены дома дрогнули, и у мужиков зашевелились волосы.

– Выпустите нас отсюда! – заорали они сразу в несколько глоток.

Стражники, сидящие на крыльце, забеспокоились – им тоже стало что-то не по себе: крыльцо начало скрипеть, шататься, словно при землетрясении, горизонт накренился и так, в накренинном состоянии, и застыл – у нечистой силы был суровый характер, она не любила шутить.

– Смерть Хеонии Гусевой! – прокричал кто-то в пустой избе – один из девяти арестованных, похоже, сошел с ума

– Разве так можно? – прошептал кто-то из охранников. – А что скажет господин полицейский исправник?

На допросе Феония Гусева упрямо молчала – стиснув зубы, прижав ладонь ко рту, она лишь мотала головой, отказываясь отвечать. Когда с нее стянули шаль, то люди, которые вели допрос, отшатнулись от Феонии – лицо ее было сплошь покрыто болячками, какими-то детскими, золотушными болячками, коростой, на носу тоже сидела большая золотушная блямба.

Следователь с брезгливой миной на лице бросил шаль на пол. Феония спокойно нагнулась, подняла шаль и натянула себе на голову:

– Сейчас я в тебя плюну. – У Феонии неожиданно прорезался сильный, звучный голос. – До конца дней своих будешь лечиться!

Следователь поспешно отодвинулся от Феонии, стал задавать вопросы из угла избы. Феония молчала, она словно бы не слышала вопросов, словно бы не понимала следователя, словно бы не разумела русскую речь, хотя только что говорила, грозила юному, с щегольскими усиками, будто приклеенными к бровастому щекастому лицу, следователю – ведь она действительно могла плюнуть в офицера какой-нибудь заразой, слюной, кишасцей микробами, и тогда офицерик этот свое бы имя спустил на лекарства.

Чем была больна Феония, следователь не знал, но на всякий случай старался держаться от нее подальше. И правильно делал. Пощипывая усики, он записал для себя на листе бумаги кое-какие наблюдения – что-то вроде заметок на память...

«Проверить, сколько ей лет. Наверное, около тридцати. Может, чуть больше. Незагорелая кожа, болячки – очень странные болячки. Платье простое, черного монашеского цвета, но под простым этим платьем – очень дорогое белье, которое простолюдины не носят. Отказывается есть и пить – ничего не хочет брать в рот!» Следователь был грешен – пописывал стишки и стремился, чтобы из-под его пера выходили только грамотные тексты, и главное – чтобы они были живыми, поскольку мертвая полицейская сухомятина уже всем надоела смертельно. Скулы от нее сводит.

Поздно вечером Феония все-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов – всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он – антихрист!»

Когда ее увели на ночь в камеру, – если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, – это было мрачное деревянное, темное, пахнущее сеном и мышами помещение, – она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно – бить стекло.

Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло – то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась – звук разбитого стекла мог привлечь стражников.

Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и темным – в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать – в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, – но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нем снова начал шуметь-волноваться народ.

Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодежь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву – в воздухе противно пахло кровью, пеплом, лекарствами, болью.

Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок, Феония поспешно выдернула его, прислушалась, стараясь понять, услышал ее стражник или нет?

Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то – все смешалось, а нечеткий звон разбитого стекла охранник все же услышал – у него оказался тонкий слух, – затопал ногами, забряцал тяжелым замком, и Фео-

ния, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по ее мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.

Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.

– Эй! – позвал он.

Керосиновым фонарем осветил лежавшую на полу Феонию.

Человек он был опытный, все сразу понял, позвал напарника, вдвоем они не дали Феонии умереть. Отняли у нее осколок, который она намертво зажала в ладони, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики – чтоб и впредь было неповадно – основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать ей руки, но не стали.

А Распутин все продолжал хрипеть в своем доме – он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей – маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными – стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас – Распутин и ее выдержит.

Почти все запросы о Феонии были пустые, у полиции сведений на нее имелось мало – она не проходила ни по одному делу.

В тот же день полиция стала искать одного журналиста, который ехал вместе с Распутиным в поезде, – о нем сообщили дамы из свиты «старца». Кстати, по поводу распутинских дам полиция получила приказ: собрать всех в одну кошелку, доставить в Тюмень и посадить в поезд, идущий в Санкт-Петербург, – нечего им шуршать юбками в Покровском! Допрашивать дам полиция опасалась – слишком уж высокие семьи они представляли, всей России были известны их фамилии.

Утром бледная, как мел, после бессонной ночи и переживаний, перевязанная обрывками бинтов, Феония призналась дотошному молодому следователю, что действовала она по указке Илиодора, а еще мстила за поруганную Распутиным подругу – монахиню Ксению. Несколько месяцев она следила за Распутиным, раньше держала при себе сапожный нож, но в Ялте ей подвернулся тесак, она его купила и хотела там же, в Ялте, расправиться со «старцем», но ей ни разу не удалось приблизиться к нему: Распутин все время находился в окружении людей, в Петербурге тоже не удалось, и тогда она приехала следом за ним в Покровское.

Наконец Распутину сделали операцию, почистили кишечник, заштопали несколько порезов, осмотрели и подлечили мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Но Распутин пока не приходил в себя. Через день температура пошла на убыль. Это был хороший знак.

Судьба Илиодора сложилась неудачно, вроде бы он был на коне – вместе с Гермогеном брал верх над Распутиным, но нет – Распутин рассчитал позицию куда вернее, чем они с Гермогеном, и сумел обезножить коня, на котором они скакали. Илиодор впал в немилость. Вообще, фигура Илиодора представляет интерес для всякого пытливого человека. В архиве сохранилось несколько папок Департамента полиции с пометками «Бывший иеромонах Илиодор». В молодости он баловался революционной деятельностью – именно баловался, хотя сам относился к этому очень серьезно и, несмотря на монашеский постриг и отвращение к оружию, пробовал даже стрелять из тяжелого, намертво отшибающего руку револьвера, учился разбирать и собирать мосинскую винтовку-трехлинейку, был знаком с устройством самодельной бомбы.

«Иеромонах Почаевской лавры Илиодор в начале 1908 года ввиду несоответствия проповеднической деятельности был переведен по распоряжению духовного начальства на жительство в город Царицын, – следовало из полицейского досье, – а затем ввиду неисправимости и обострившихся на этой почве отношений с гражданскими властями – переведен из Саратовской епархии в Минскую».

Но жители Царицына обратились к государю-императору, и тот 3 апреля написал на прошении: «Жалея духовных детей иеромонаха Илиодора, разрешаю ему возвратиться в Царицын на испытание, и в последний раз».

Из досье следовало, что 5 ноября 1909 года Илиодор произнес проповедь, в которой говорил об угнетении богатыми неимущего класса. Предупреждение, сделанное полицией, на иеромонаха не подействовало: революционная борьба была для него как сладостная чесотка – чем больше чешешь, тем лучше. Он считал себя привязанным к революции на всю жизнь. 29 ноября 1909 года Илиодор выехал из Царицына в Тобольск, 21 декабря вернулся. После приезда из Сибири выступал перед рабочими с зажигательными речами, о чем существуют рапорты начальника жандармского управления и саратовского губернатора графа Татищева российскому премьеру П.А. Столыпину.

На бумагах той поры стояли грифы «доверительно», «секретно» и «конфиденциально». Из бумаги под грифом «доверительно» следовало, что у Илиодора был «громкий, крикливый, немного режущий ухо голос с нервной хрипотой. Черная ряса, такой же клубок, бледное, худое, изможденное лицо с небольшою черной внушительной бородой».

Чтобы понять этого «революционера», его надо процитировать – и тогда все встанет на места... В одной из проповедей в Царицыне, записанной полицейским агентом, Илиодор, например, говорил:

– Попал я в Почаев. Там – хохлы, народ тоже крепкий, сильный, в плечах косая сажень, кулак вот какой! – Надо полагать, хилый Илиодор пудовым кулаком похвастаться не мог, поэтому он сложил вместе два своих кулака, добавил к ним для увесистости еще что-то и показал народу. – Стал с ними, с хохлами, значит, беседовать. Когда они узнали, что такое конституция и революция, глаза у них налились кровью. Подняли они кулаки и говорят мне: «Скажи, батюшка, где эта самая конституция находится? Мы ее так пришибем, что только мокренько останется!»

– В Петербурге! – сказал хохлам Илиодор. Те даже взвыли от ненависти к столице России. На той же показательной проповеди Илиодора спросили:

– Батюшка, что с жидами нужно делать?

Илиодор не колебался ни секунды:

– На виселицу их!

Большой был, в общем, демократ и человеколюб.

Из Царицына он был выслан вторично – не оправдал доверия царя и прихожан, некоторое время сидел в монастыре, замаливал грехи, потом Илиодора сослали во Флорищеву пустынь. У Илиодора, как и у Распутина, были свои последователи, поклонницы и поклонники, богомольцы, хранившие книги Илиодора, его одежду, а иногда и вовсе какой-нибудь жалкий лоскуток – остаток его одежды, карман либо часть воротника, и к этим людям нельзя было относиться легковерно, с улыбкой, абы как эти люди могли пойти на все, даже на убийство, если кто-то вздумал бы обидеть их избранника.

Поскольку было непонятно, чем больше увлекался Илиодор – революционными делами или богослужением, полиция на всякий случай причислила его к разряду тихих бунтовщиков и установила наблюдение.

Жил Илиодор в сухой келье, состоявшей из двух половин, одна половина была мирская, другая духовная. Пахло в келье землей и пауками, и сколько Илиодор ни подкладывал пахучей травы, сколько ни пристраивал на стенах мяты и злого, ядреного чабреца, духа этого никак не мог изгнать из кельи, дух давил, мучил голову, и сосланный в пустынь Илиодор мечтал о свободе, о Боге, о поклонниках, о собственном монастыре.

Людей к себе в келью Илиодор не пускал – даже послушника, который приносил миски с едой и питьем, и того держал на пороге, лишь приотворял малость дверь, и послушник ставил

посуду на пол, затем, недобро поджимая губы – слишком уж нелюдимо живет монах, – забирал грязные миски и уходил.

Но свобода манила Илиодора, ой как манила. По ночам он до крови кусал губы, желая полной грудью вдохнуть сладкого воздуха свободы, ворочался, потом, запалив свечу, гонял по стенам клопов и думал о том, что надо бы на зиму запастись чернобыльником либо серебристой полынью, и полынь и чернобыльник своим духом распугают всех клопов.

Случалось, Илиодор в отчаянии выходил из себя – с силой бил кулаком об пол, потом тер его – ушибленное место долго болело – и удрученно шептал:

– Ну, Гришка, ну, мразь! Ты еще пожалеешь, что так со мною поступил. Погоди! Погоди-и-и. Ошибочку ты сделал, что со мною так... Отольются тебе мои слезы!

Он ненавидел Распутина, придумывал разные планы мести, но отомстить пока не мог: Распутин в схватке взял верх, подмял всех под себя, загнал Гермогена с Илиодором в Тмутаракань, в кельи, а сам остался на свободе. Для того чтобы отомстить Распутину, нужна была свобода.

– Ну, мразь! – вздыхал по ночам Илиодор. – Ну, Гришка! Будет и на нашей улице праздник!

Однажды, в первых числах мая, филеры, присматривавшие за пустыней, за Илиодором, по поводу которого получили прямое распоряжение министра внутренних дел не церемониться и, если что, цеплять на запястье наручники, заметили, что около монастырских стен бродит какой-то странный человек и делает замеры. Чаще всего человек останавливался напротив окон Илиодоровой кельи.

Подозрительного человека задержали. Задержали поздним вечером, уже в темноте, когда светили только звезды, на опушке недалекого леса. Им оказался царицынский мещанин Иван Сеницын. За сутки до Сеницына была задержана повозка, направлявшаяся в пустынь. Извозчик подозрений не вызвал – это был местный человек, занимавшийся извозом с малолетства, его знали и в управе, знали и филеры. Иван Сеницын нанял извозчика специально. С собою он вез два баула и меховой сверток. По дороге попросил остановиться у колодца, где босая богомолка пила воду из ведра, спросил у нее:

– Скажи, много ли стражников в монастыре?

– Нет, – ответила та, – человека три. Больше никого не видно.

Пассажир отдал извозчику пальто и серебряный рубль – плату за работу, деньги по тем временам большие, – сказал, что через некоторое время поедет с ним обратно на станцию. Около пустыни, в лесочке, он слез, махнул рукой, отправляя извозчика обратно.

Дома извозчик осмотрел пальто – оно оказалось поношенным, зеленоватого цвета, годилось больше на выброс, чем на что-то другое, и извозчик, хотевший было взять пальто себе, решил, что оно ему не подойдет – от такого пальто больше хлопот, чем радости.

Полицейские поинтересовались у Сеницына, куда тот идет?

– Из Гороховца в Пурех, – ответил Сеницын, – только вот дороги не знаю, боюсь в темноте заплутать... Решил заночевать.

– В лесу? Не страшно?

– А кого бояться-то?

Утром в траве напротив кельи Илиодора был найден узел с одеждой. Когда привели извозчика, он узнал в Сеницыне своего седока. Распотрошили узел. В нем оказались – привожу по полицейской описи – пара сапог с галошами, новая круглая войлочная шапочка, наподобие той, которые носят горные люди сваны, два парика – рыжеватый и черный, с общепринятой крестьянской прической – пробор посередине, две накладных бороды с усами, флакон клея, кисточка, зеркало, гребенка, коробка с пудрой и пуховка – круглый перьевой комок, очень мягкий, которыми заезжие артисты обычно пудрят лицо.

Через несколько часов Синицын признался, что прибыл из Нижнего Новгорода с одной целью – освободить Илиодора и доставить его в Царицын.

Когда об этом сообщили Илиодору, тот воскликнул тонким, испуганным, как у зайца, голосом:

– Провокация!

В келье у Илиодора было пусто – людей к себе он по-прежнему не пускал. Пришел протоиерей Беляев, проверил келью и сообщил жандармам:

– Никого нет!

Но жандармы не удалились – у этих людей нюх был собачий, они что-то чувствовали. Чувствовали в монашеской келье немонашеский дух.

– Мы сами проверим келью, – заявили они протоиерею.

Илиодор попробовал закрыть своим телом вход, но не тут-то было – его просто переставили в другое место, как мешавшую вещь. Очень быстро полицейские нашли жильца, от которого исходил немонашеский дух, – патлатого, босого, в кальсонах и в нижней рубахе.

– Кто таков?

Оказалось, Дмитрий Романенко, крестьянин из Саратовской губернии.

– Почему разделся?

– А жарко!

– Это в келье-то?!

В каменной келье Илиодора никогда не бывало жарко, скорее, всегда было холодно – камень выделял холод, тут если побыть подальше, зубы начнут выстукивать чечетку.

– В келье! – подтвердил саратовец.

– Жарко, значит?

– Ага, жарко.

Пока продолжался этот непритязательный разговор, обыск не прекращался. За дверь был обнаружен еще один человек.

– Кто таков?

На сей раз мещанин Степан Дорофеев.

Были обнаружены и вещи: пиджак, брюки, ватная тужурка, барашковая шапка, сапоги. Судя по размерам, одежда принадлежала Романенко.

– Твоя?

Тот не стал отнекиваться – понял, что делать это бесполезно.

Жилет и ватная поддевка принадлежали Дорофееву. Жандармы отыскали еще две котомки, две пары новеньких лаптей и две пары теплых, крупной вязки крестьянских чулок.

Все стало ясно – Илиодор собрался бежать. Жандармы дознались, что в похищении должна была участвовать и женщина – некая Сана, дама большого роста, страдающая зубами. В день побега у нее должны быть подвязаны зубы, подвязка – это опознавательный знак.

Двух жильцов-немонахов жандармы арестовали – настоятель отказался признать их своими и содержать в пустыни – и, посмеиваясь, усадили на телегу; через некоторое время на станции Гороховец обнаружили и даму высокого роста, в башмаках сорок второго размера, повязанную марлевой скруткой, – Сану, это была она – Александра Мерззликина, астраханская крестьянка, жительница Енотаевского уезда.

Побег из Флорищевой пустыни был сорван, и сквитаться Илиодору с Распутиным не удалось.

А план побега был прост. В апреле и в мае в монастырь обычно приходит много паломников – только в первые два майских теплых дня их было триста с лишним человек, в этой разномастной гурьбе к Илиодору прибыло двое гостей – Дорофеев и Романенко. Илиодор укрыл их в своей келье.

Синицын и Сана страховали побег за монастырскими стенами, на воле. Вечером шестого мая Синицын должен был подойти к окну кельи, которое он высчитал точно, и в траве спрятал сверток с одеждой, чтобы потом не путаться, не суетиться – все должно находиться под руками, – а Романенко с Дорофеевым спустить Илиодора на веревке вниз. Сами же они должны были остаться в келье на две недели, до двадцатого, изображая Илиодора, принимать от послушника миски с едой – келья не должна была оставаться пустой.

По плану предполагалось, что Синицын довезет на телеге Илиодора, притворяющегося больным, до Балахны. В Балахне, на реке, была припрятана лодка, на которой предстояло сплавиться до Казани, в Казани – совершить пересадку на буксирный пароход и по Волге приплыть в Царицын, точнее, в Саретский затон, откуда лошади должны были доставить Илиодора в монастырь.

Конечная дата этого путешествия, по плану, приходилась как раз на двадцатое мая. К этой поре Романенко с Дорофеевым должны были выйти из кельи – Илиодора вряд ли уже могла поймать полиция.

А в Царицыне сторонники Илиодора уже собирали подписи под петицией к царю, в которой просили дать «добро» на основание нового монастыря. Настоятелем монастыря должен был стать Илиодор.

В конце июня загримированный под старика Синицын, имея при себе документы на имя Федота Болотина, попытался проникнуть в келью Илиодора. В мешке этого неряшливо одетого странника были обнаружены лапти, костюм, грим, кое-что по мелочи. Странника арестовали, но Синицын полиции уже не боялся – устал бояться, переболел всякими страхами и понял, что это – пустое: он знал, что дня три его продержат на казенных харчах, а потом выпустят – чего на него зря расходовать деньги? Начальник Владимирского губернского жандармского управления полковник Эрнст так и сделал – не стал тратить на Синицына казенные харчи, но о случившемся сообщил в Петербург. Соответственная бумага нашла свое место в пухлой папке Илиодора.

В начале августа в пустынь снова зачастили поклонники Илиодора, перед кельей монаха они падали на пол, дружно колотили лбами землю, подвывали жалобно – то ли что-то пели, то ли сочинили свою собственную молитву и теперь исполняли ее – не понять. Илиодору они подарили дорогой белый посох с золоченым крестом, вкрученным в шишак. Монах принял посох со слезами, поклонился богомольцам и просил передать рабочим, которые обеспечивали паломничество своими рублями, не тратить больше денег на поездки в пустынь, а копить средства, копить, собирать рубль к рублю, пятиалтынный к пятиалтынному, копейку к копейке и вести им жесткий счет.

– Деньги скоро понадобятся, – предупредил Илиодор, – много денег понадобится!

Был разработан еще один план побега, который вскоре стал известен полиции, – там прислушивались к каждому звуку, доносящемуся из обители, да кое-кто из монахов был не прочь подработать на стукачестве, лишний рубль еще никогда не оттягивал рясу, а полиция на рубли не скупилась. План был ошеломляюще примитивен: несколько человек должны были затеять шумную драку в лесу и выманить из монастыря стражников. Пока те будут утихомиривать дерущихся, Илиодор выскользнет из пустыни, на извозчике доедет до деревни, там переседет на нанятый за шестьдесят рублей автомобиль. Автомобиль довезет Илиодора до Нижнего Новгорода...

Драка в лесу была устроена шумная – с криками «Убивают!» и стрельбой из пугачей, с матом и звоном разбиваемых бутылок, с большим костром, и стражники действительно метнулись в лес, чтобы врезать дерущимся по шее, а зачинщикам вообще свернуть набок скулы и носы – все было продумано верно, – только в лес помчались не те стражники, которые охраняли Илиодора, а совсем другие. Те, которые охраняли Илиодора, остались на своих местах.

Стражники так быстро разметали дерущихся, что кое-кто оставил на поляне даже обувь. Кстати, агент полиции наткнулся в лесу на шалаш, в котором находилась влюбленная парочка, эта парочка скрылась настолько стремительно, что женщина даже забыла у шалаша свои ботинки.

Все провалилось и на этот раз.

Побегом руководил брат Илиодора, Аполлон Труфанов.

В октябре – это было вечером шестого числа – отчаявшийся Илиодор остриг себе голову и попросил настоятеля, чтобы тот разрешил ему обменять монашескую рясу на светский костюм. Илиодор был подавлен: глаза воспалены, лицо запаршивлено, руки тряслись – с одного взгляда было понятно, что этому человеку надо чинить свои нервы. Илиодор решил, что нужно уходить из монастыря, пока он находится здесь, до Распутина ему не добраться. Никаким обманом. Мечь откладывалась, а она была все равно что горящие уголья в груди, она требовала выхода, действий, немедленного присутствия в Петербурге!

Настоятель отказал Илиодору, и тогда тот решился на крайнюю меру – написал письмо в Синод, в котором отрекся от веры и Бога. Несколько дней Илиодор проплакал, ожидая ответа.

Священный синод лишил Илиодора сана. Илиодор собрал свои вещи, которых у него, как, собственно, у всякого монаха, было очень немного, и уехал. Перед отъездом отправил письмо своим приверженцам в Царицын. «Ваш батюшка умер, – со скорбью начертал он на бумаге. – Отречение я подписал собственной кровью, взятой из руки. Вечная истина повелела мне сделать это».

Уехать в Петербург и сквитаться с Распутиным Илиодору – в миру Сергею Труфанову, Илиодор остался уже в прошлом – также не удалось: он был сослан на Дон, в один из пристаничных хуторов, ближе к отцу и брату – Илиодор был из донских, – где поселился у старообрядческого священника.

Полиция тщательно присматривала за ним – избежать этой опеки Илиодору не удалось.

Поместье свое Илиодор прозвал Новой Галилеей, дом укрепил, огородил высоким забором, женился на молодой зубастой казачке, развел кур, взял в аренду землю – выращивал картофель и арбузы и томился. Так худо и скучно было Илиодору в Новой Галилее, что он начал пить.

Несколько раз Илиодор засек стражников у своего забора и послал в полицейское управление письмо, в котором просил не мозолить ему глаза. «Если вам необходимо следить за мною, то вы должны сидеть под забором», – подчеркнул он.

В запоях Илиодор часто вспоминал свое прошлое, Царицын, проповеди и преданных прихожан, перед ним возникали лица – скорбные, укоризненные, жесткие, самые разные лица, и все знакомые. Илиодор водил рукою по воздуху, пробуя смазать их, убрать, но лица возникали вновь, и Илиодору становилось не по себе. Водку, говорят, он гнал сам – и очень умело – из картошки и зерна, из груш; случалось, что готовил особый коктейль: брал арбуз посочнее, шилом прокалывал у него бок и закачивал туда пол-литра водки, заклеивал. Потом давал арбузу полежать пару дней где-нибудь в прохладном месте.

Получался напиток необыкновенной вкусноты – мягкий, хмельной, розовый – Илиодор одолевал целый арбуз разом, заедал зелье мякотью, а потом, когда мякоть кончалась, ел арбузные корки.

Полиция, видя, что Илиодор ведет себя как нормальный мужик – пьет, но не буйнит, перестала трогать его, взяла подписку о невыезде и убрала стражников, от которых у Илиодора была изжога – когда он их видел, то обязательно хватался за бутылку либо за арбуз. Наливаясь, Илиодор ложился на пол и бормотал:

– Я отрекся от Церкви и Христа, как Бога Духа Святого. Я признаю единого первичного Бога, непостижимо родившего чудодейственное семя прекрасного видимого мира – Язык у него заплетался, едва ворочался во рту, прилипал к нёбу, губы делались алыми, будто он кра-

сил их женской помадой, но мысль работала ясно, и вообще в голове светлело от выпивки – Илиодора сбить было трудно, он шел по накатанному пути, часто повторял эти слова, написанные им в отречении. – В жизнь мира Бог не вмешивается. Отречение я подписал собственной кровью. Вы поняли, гады? – Илиодор приподнимался на полу, оглядывал голые, давно уже не беленные известкой стены, кричал: – А ты понял, Гришка? – Взметывал над собою кулак. – Доберусь я до тебя, Гришка, обязательно доберу-усь! Ремней ведь из тебя нарежу! Отречение я подписал своей кровью, кровью отсюда вот, – он тыкал пальцем в запястье левой руки, – отсюда вот брал!

Однажды из Царицына прибыла группа поклонниц Илиодора – очень боевых, горластых, совсем не похожих на обычных прихожанок, их было человек пятьдесят. Полные сил прихожанки, увидев стражников, лежавших в тени забора – это было до того, как полиция помягчала к Илиодору, – решили освободить своего кумира.

Но в драку с полицией не полезешь, полиция все равно окажется сильнее, поэтому они купили два десятка лопат и попытались прорыть к дому Илиодора подземный ход.

Об этом узнал Иван Сеницын, заметно похолодевший к бывшему иеромонаху, и донес полиции. Поклонниц Илиодора накрыли вместе с лопатами, ход засыпали.

Но и Сеницын вскоре тоже был наказан – Бог наказал, как говорили люди: сытно поужинав, он вдруг схватился за живот и повалился на землю. Долго катался по ней, кричал, потом изо рта у него полезла пена, и Сеницына не стало. Почил в Бозе. В медицинском заключении было указано: отравился дохлой рыбой.

А в остальном к Илиодору не было претензий – даже в связи с подкопом, в полиции решили, что влюбленные в красивого Илиодора прихожанки сделали это по собственному разумению, Илиодор здесь ни при чем, – и удивились, когда из Петербурга поступило распоряжение произвести у Илиодора обыск. И не только у Илиодора – у его сторонников тоже.

– Мда-а. Это, видать, в связи с убийством Распутина, – догадались полицейские чины.

Обыски ничего не дали – у Илиодора, кроме пустых бутылок, запаса картошки и арбузов, дареного белого посоха и тряпок жены, ничего не нашли, у его сторонников – тоже.

Распутин стонал, бредил, пытался перевернуться на бок, и тогда его приходилось держать – у Распутина могло остановиться сердце, хотя и крепкое оно было, но работать беспредельно не могло, оно должно было надсечься. Пульс дрожал, температура почти не опускалась – точнее, опускалась чуть, но тут же ползла вверх, к той критической отметке, когда кровь начинает густеть, врачи провели у постели старца несколько ночей.

Если раньше брал верх осторожный тоболоц – он боялся принять грех на свою душу, то теперь тюменцы оттеснили врача с «Владимиром» на шею и энергично боролись за жизнь «старца».

Была сделана операция. Операция прошла при свете лампдесятилинеек, наполнивших комнату печным жаром, дышать стало нечем, зажгли все лампы, что были в распутинском доме, еще три лампы взяли у соседей. Завершилась операция успешно. Теперь из Распутина надо было постоянно выгребать гной. Неприятное это дело, но тюменцы не морщились, орудовали слаженно и четко.

Были минуты, когда Распутин с хрипом выбивал из себя знакомые имена: «Пуришкевич... Саблер... Маклаков... Илиодор», потом вдруг всхлипывал со слезою и звал к себе дочь.

– Матреша! – дрожал в воздухе слабый распутинский оклик, и, отзываясь на него, в глубине огромной избы билась, полувоющая-полуплача, любимая дочь, рвалась в дверь комнаты, в которой лежал отец, мячиком отлетала обратно и снова на полном бегу врубалась в дверь.

– Папанечка!

Врачи дверь Матрене не открывали: прежде чем ее допустить к отцу, надо было основательно обработать, убрать микробы, проспиртовать – дочка Распутина чистотой не отличалась, но зато отличалась другим – любовью к отцу.

– Пуришкевич, Пуришкевич, – стонал Распутин, облизывая языком сухие, твердые губы, – что же ты, а?

– Государственная дума в полном составе, – усмехался тобольский профессор, – Пуришкевич, Маклаков... Глядишь, и тайну какую-нибудь узнаем. А зачем она нам?

Тюменские врачи молчали, их коллега, прискакавший в Покровское первым, не выдержал, гневно выпрямился. Но говорить тоже ничего не говорил.

А Распутин в бреду действительно часто видел Пуришкевича – лысого, лобастого, с аккуратной бородой, намазанной духовитым маслом, наряженного в военный мундир, с орденом под подбородком, гневного. Распутин и так пробовал приладиться к Пуришкевичу – не хотелось с ним ссориться – и эдак, но все бесполезно, и тогда Распутин в сердцах высказался в одном интервью:

– Пуришкевич ненавидит меня за то, что мне приходится заступаться за евреев и, между прочим, просить о допущении купцов-евреев на Нижегородскую ярмарку. Он не может мне простить, что я помогал многим беднякам-евреям в Сибири и не скрывал этого.

Утром Распутин открыл глаза.

– Где я?

– Дома, у себя дома, батюшка, – ласково произнес тобольский профессор, – в селе Покровском.

– А-а, – произнес Распутин, как показалось собравшимся, разочарованно, шевельнулся и охнул от боли, проколовшей его, недоуменно поглядел на врачей, словно бы спрашивая их замутненным взглядом: «А чего так много вас тут?» Подвигал немного непослушными губами и снова закрыл глаза.

– Спасли мы вас, Григорий Ефимыч, уже в горячке вы были, отчаливали от нашего берега, а мы все силы приложили, чтобы вернуть вас, – громко и четко говорил тобольский профессор, стараясь, чтобы Распутин услышал каждое его слово. – Коллеги из Тюмени особенно постарались, отличились. – Он с добродушным видом покосился на тюменских врачей, подмигнул, тюменцы отвернулись от тобольца, им все больше не нравился профессор с «Владимиром» на шее. – Отличились, можно сказать... Все отличились!

Распутин никак не отозвался на слова тобольца, они, похоже, вообще не дошли до него, у «старца» вновь поползла вверх температура, он начал гореть, снова завскарикивал что-то бессвязно, задергался, пытаясь освободиться от железного жала, воткнувшегося ему в живот, на губах вспухали и лопались розовые пузыри, лоб был потным, розовым, страшным – кровь на лице Распутина смешалась с потом.

Первым сообщение о нападении на Распутина опубликовала газета «День» – та самая, в которой работал Александр Иванович, – прибывший из этой газеты корреспондент оказался самым проворным. Но он уступил место корреспонденту «Петербургского курьера». «Курьер» не жалел денег на новости, и его представитель не вылезал из местного телеграфа. Эта газета дала сразу несколько телеграмм подряд:

«Неизвестная женщина, прибывшая из Астрахани, напала на проходившего по селу Гр. Распутина и огромным солдатским кинжалом нанесла удар в область живота. Оружием задеты кишки». Под телеграммой стояла дата: 28 июня, и время: 14 часов 11 минут.

Надо отдать должное этому корреспонденту. Чтобы повысить интерес к событию и оправдать трату денег на телеграммы, он привирал. У специалистов более позднего периода такие натяжки проходили под видом «художественных обобщений» либо «обобщений сюжетных во

имя правды», «реалистических осмыслений» и тому подобного. Корреспондент был грешен, грешил он специально – знал, что в «Курьере» его не накажут.

Вторая телеграмма была более короткая: «Распутин в агонии. Раненый говорит: “Выживу, только страсть как больно”. Священник причастил его. 29 июня, 1 час 55 минут».

Под третьей телеграммой время не было указано: «По распоряжению губернатора у всех в селе отобраны паспорта».

Новость о покушении подняла на ноги Петербург. Другие газеты не смогли ничего дать о происшедшем – только «День», и то в большей степени предваряя события. Статья Александра Ивановича оказалась очень к месту и «Петербургский курьер», взбудораживший светские салоны фразой из второй телеграммы о том, что священник причастил «старца».

– Значит, конец? Значит, не будет Распутина? – плакали зрелые дамы, увешанные бриллиантами, юные, еще только вступающие в жизнь красавицы вторили им.

– Туда и дорога собаке! – угрюмо радовались мужья-рогоносцы.

На следующий день – это было уже тридцатого июня – многие газеты поместили сообщение о том, что в Тобольск выехали «г-жа Головина, фрейлина Вырубова, из Москвы – Л.А. Решетникова». Все три представительницы аристократических семей, сильные мира сего.

Следом за этим сообщением газета «Русское слово» напечатала заметку, под которой стояла дата «30 июня».

«Петербург. По полученным здесь сведениям, Григорий Распутин скончался сегодня в 5 часов 45 минут дня от заражения крови».

Узнать что-либо толком было нельзя, сведения из Покровского запаздывали. Снова зачистили ливни, реки опять вышли из берегов, телеграф работал из рук вон плохо, многие столбы связи были повалены, часть сел оказалась затопленной, люди из домов переселились жить в лодки, взяв с собой то, что можно было взять в руки, – немного продуктов да мыло с полотенцами, все остальное побросали в домах. Хлеб, мясо, одежда были унесены водой.

Даже срочные телеграммы приходили в Россию – сибиряки испокон веков звали европейскую часть страны Россией – с опозданием на полтора-два дня.

В Петербурге, у дома на Гороховой, где Распутин снимал квартиру, волновалась-шумела толпа. Толпа собиралась даже ночью, при факелах, чей свет в темноте бывает очень тревожен, заставляет нехорошо сжиматься сердце; в толпе – разный народ: телеграфисты, рабочие, курсистки, юные барышни из порядочных семей, проститутки, журналисты, старые почтенные матроны, фотографы, крестьяне и, конечно же, филеры. Швейцар, городской и два дворника держали оборону распутинской квартиры, никого не подпуская к ней, покрикивая на толпу. Глаза у охранной команды – красные, слезящиеся, эти люди почти не спали, и городское начальство уже подумывало, не отрядить ли трехсменную охрану?

Отклики на покушение появились в газетах Парижа и Берлина, русские газеты печатали воспоминания тех, кто хорошо знал Распутина.

О Распутине заговорили как о мертвом...

А Распутин был жив, он вновь очнулся, попробовал приподняться на постели, но упал на подушку, проколотый болью. Просипел через силу:

– Чем я прогневил Бога? – Потом пальцем подозвал к себе врача. К нему подскочил тобольский профессор, готовно наклонился. Распутин пожевал губами и внятно произнес: – Отправь в Петербург телеграмму!

– Кому, по какому адресу?

Распутин повозил пальцем в воздухе – жест был раздраженным, – сжал глаза в щелки, выдавил из-под век слезы, кожа на щеках потемнела, сквозь темноту проступила кирпичная больная краснота, ему было трудно: непрочная ясность, в которой он пребывал, когда очнулся,

стремительно уступила место боли, жару, из-под повязки на животе потек густой гной. Гной быстро собрали.

– Эта... эта... – вновь внятно проговорил Распутин и замолчал.

– Что... эта? – Профессор старался ловить каждый звук, срывающийся с губ Распутина.

– Эт-та... Пи-ши сло-ва.

Профессор пощелкал пальцами, требуя бумагу и карандаш, оглянулся нетерпеливо, боясь, что ниточка, которая только что протянулась от Распутина к нему, оборвется, ему подали бумагу и толстый свинцовый грифель.

– Пишу, Григорий Ефимович!

– Какая-то стерва меня заколола?

Записав слова на бумагу, профессор наморщил лоб, сдвинул рот в сторону, словно бы говоря: «Фи!»

– Такой текст и посылать? – спросил он.

– Такой и посылай.

– Будет исполнено, Григорий Ефимович. А адрес какой?

Распутин внятно, словно бы боясь, что этот человек с орденом что-то перепутает или не поймет, по буквам продиктовал адрес. Профессор невольно отшатнулся от постели, лицо его одрябло, обвисло складками – адрес испугал тобольское светило.

– Такую телеграмму да по такому адресу? – прошептал он, едва двигая серыми губами.

– Да!

Через час в Царское Село ушла телеграмма. Царское Село, именно оно испугало профессора, тоболовец знал, кто там живет, и чувствовал себя так, будто сейчас в комнату вломятся стражники, завернут ему руки за спину и обвинят в чем-нибудь таком... в чем-нибудь таком – в революционном вольнодумстве, например, или в причастности к бомбистам.

Вечером пришла ответная телеграмма – разливы рек, вывернутые столбы и обрыв линий совсем не были помехой телеграммам, если они шли в Царское Село и были подписаны от имени Распутина или шли из Царского обратно и за ними стояло высочайшее лицо – обратный корреспондент.

Текст был короток: «Скорбим и молимся». Подпись под телеграммой отсутствовала. В сопроводительной графе стоял лишь кодовый номер отправителя. У Распутина, когда ему прочитали телеграмму, заметно улучшилось настроение и понизилась температура.

Вид у профессора стал гордым, даже надменным, словно бы не Распутин, а он получил телеграмму. Тюменские врачи отнеслись к этому безразлично – для них авторитеты не существовали, для них существовало только одно – дело. Операции, перебинтовки, терапия, корпии, лекарства и вообще все, что касалось медицины, а расшаркивание ножкой, политес и «вумные» разговоры – эти атрибуты совсем другой оперы.

Днем Покровское оцепил конный отряд – казаки все-таки прибыли, слухи подтвердились. Казаки были наряжены в новенькую форму, при начищенном оружии, с блестящими ножнами шашек. «Прибывает кто-то из важных, – догадались покровцы. – Иначе к чему такие строгости?» Они не ошиблись – через два часа в Покровское прибыл тобольский губернатор, действительный статский советник Станкевич, не побоялся грязи и дождей, дорожных промоин и паводков, прибыл сам – раз сам, то, значит, такую команду дали из столицы. Нигде не задерживаясь, губернатор проследовал в избу Распутина. Распутин был в сознании, сказал губернатору:

– Садись, милый!

Тобольский врач услужливо придвинул гостю табуретку, губернатор сделал жест рукой, прося его оставить наедине с больным. Высоких гостей Распутин не боялся – видывал и не таких, но тут, оставшись один на один со Станкевичем, почему-то оробел. Наверное, потому, что Станкевич руководил землей, на которой рос род Распутиных, клубень корней уходил в

глубину, и если губернатор захочет сделать пакость распутинской семье – сделает ведь, и Распутин, находясь в Петербурге, проглотит этот бутерброд. «Может, и не надо говорить губернатору “милый”?» – засомневался он.

О чем беседовал Распутин с губернатором – неизвестно, только после встречи со «старцем» Станкевич отправил несколько телеграмм в Царское Село и в Петербург и отбыл обратно – губернатора ждала губерния, ждали дела.

Стало известно только, что губернатор распорядился перевезти Распутина в Тюмень и что за «старцем» будет прислан пароход.

Феонию Гусеву тоже было решено перевезти в Тюмень. Распутин хотел было повидать ее и попросил, чтобы Феонию привели к нему, но ни врачи, ни полицейские не разрешили. «Старец» пробовал настоять, но потом махнул рукой: «Не надо так не надо!»

Следователь выжал из Феонии все, что мог, – Феония еще раз, уже не в горячке, а в холодном рассудке призналась, что действовала по наущению Илиодора. «Значит, дядю этого тоже надо арестовать», – решил следователь и написал проект соответствующей телеграммы. Феония подтвердила, что мстила также за сестру-монахиню одного из монастырей Саратовской епархии, Ксению. Насчет кинжала Феония сообщила, что купила тесак у незнакомого черкеса в Ялте.

Ксения в эти дни жила в Жировецком монастыре и пока ни о чем не догадывалась, хотя ощущала внутреннее беспокойство, схожее со странным ознобом, – человек ведь всегда чувствует опасность, какой бы слабой она ни была и сколько бы километров ни отделяло человека от источника беды.

– Миловидная внешность и порывистость Ксении обратили на себя внимание Распутина, – сказала Феония следователю, речь ее сделалась манерной, неживой, – он соблазнил ее.

– А у вас никогда не было с Распутиным... ничего такого? – задал следователь неуклюжий вопрос, помялся – ему было неловко.

Феония промолчала, следователь вопрос повторил, и когда Феония не ответила на него во второй раз, следователь понял, что интересоваться этим рано, и в третий раз задавать вопрос не стал.

Когда к Феонии допустили корреспондента газеты «Утро России», она неожиданно занервничала, натянула на глаза платок, захлебнулась было в слезах, но тут же затихла, а потом истерически, с рыданиями выкрикнула:

– Все равно не жить ему! Не снесут русские люди такого позора!

– Это все Илиодор, Илиодорка, – заявил Распутин вечером, когда ему стало худо, воздух в избе сделался жарким и красным, а люди обратились в горячие тени, – все он, Илиодорка!

Понимая, что его могут арестовать и привлечь к суду, Илиодор сделал защитный ход, прислал в газету «Утро России» длинную телеграмму, которая была вскоре опубликована:

«Хиония Кузьмина Гусева – девица 30-ти лет, очень религиозная, умная, всегда осуждавшая деятельность Гришки, которого она постоянно считала развратником и опасным государственным и церковным преступником.

Она давно высказывала убеждение, что с Гр. Распутиным надо разделаться, как с самым отвратительным гадом.

Узнав от меня о том значении, которое Распутин сыграл в разрушении Царицынского монастыря, она еще более возненавидела его и решила с ним покончить. Она была осведомлена обо всех его развратных делах в Царицыне, которые происходили на ее глазах.

Я видел Хионию Гусеву месяцев 7—10 назад. По ее мнению, расправа с Распутиным – это воля Божья. Она вместе с другими оскорбленными Распутиным девицами хотела разделаться с Гришкой еще в прошлом году, но бродяга Синицын, отравившийся недавно рыбой, известил об этом Распутина, и план не удался.

Если она действительно ранила Гришку, то каждый верующий человек должен благословить ее».

Отправил Илиодор телеграмму в газету и забеспокоился – на душе у него сделалось муторно. Зарубил несколько кур, зажарил их. Потом съездил к отцу, жившему в станице Мариинской, взял у него сеть.

– Рыбы надо наловить, – сказал он, – страсть как жареной рыбки хочется!

Сеть он развесил на заборе, на самом видном месте – так, чтобы вся станица поняла, что Илиодор собирается делать. А поскольку станичники были рыбаками не менее азартными, чем Илиодор, и так же любили жерехов и сазанов, тушенных в сметане, то каждый из них позавидовал бывшему монаху: время-то сейчас самое уловистое, надо бы тоже поехать на дальние озера – если, конечно, есть потаенное озеро, то лучше «на потаенное» – да добыть пару пудов сладкомясой рыбы.

Пока Илиодор готовился к рыбалке, его взяли в разработку. Из Царицына в Петербург, на имя директора Департамента полиции поступила шифрованная телеграмма жандармского полковника Комиссарова: «Сегодня прибыл в Царицын. Пока установлено: Хиония Гусева, девица 36 лет, по профессии шапошница, проживала у своей сестры, Пелагеи Заворотковой. По словам последней, часто бывала на хуторе Большом у Илиодора, причем за последнее время была в первых числах июня у Илиодора, возвратилась через неделю, пробыла в Царицыне два дня. Вновь выехала в середине июня к Илиодору, имея при себе шесть рублей денег. Более не возвращалась. В делах следствия, вестующего по делу Илиодора, имеется собственноручное письмо его к Евдокии Скудновой следующего содержания: “Если правда то, что у тебя есть в банке шестьсот рублей, то ты возьми их, пятьсот рублей пошли с Синицыным мне, а 100 рублей возьми себе и скрытно поселись у Поли и Хионушки (т. е. Заворотковой и Гусевой). На твои деньги сделаем первое дело – окрестим Гришку”. По словам Синицына, окрестить Гришку – значит оскопить Распутина. Агентура – сестра, племянница Гусевой и другие лица – отрицает какое-либо знакомство с местными докторами. Илиодор 3-го скрылся. № 584».

Илиодор, вывесив сети на забор, еще не знал, хотя и чувствовал, что на него завешено дело, какой-то хлыщ-следователь снова ковыряется в его жизни, сопоставляет даты, хотя «полицейскую мету» он уже получил – к нему заезжал чин из волостного управления, передал казенный пакет, а уходя, произнес задумчиво:

– Далеко не отлучайтесь, господин Труфанов, только на рыбалку, но не более. Когда поедете и куда, на какое озеро или что там... старицу, ставок, поставьте в известность господина урядника.

Глаза у Илиодора невольно округлились – давно полиция с ним так не обращалась. Кожей своей, спиной, хребтом Илиодор в тот момент ощутил, что вокруг него стягивается петля и ему не дадут ни одного шанса выскочить из нее. Илиодор ускорил свой отъезд и внезапно исчез. Исчез! Тем временем 584-й – он же полковник Комиссаров, проверявший заодно, лечилась ли когда-нибудь Феония Гусева, также добыл точные доказательства того, что за покушением на Распутина стоит бывший царицынский иеромонах.

Ответа Петербурга сотруднику № 584 в деле нет – наверное, его вообще не посылали, информация была односторонней.

Когда Илиодор исчез, полицейские кинулись в станицу Мариинскую, где жили родители Илиодора, донельзя растревожили старика-отца. У него даже руки затряслись.

– Убили. – Старик не выдержал и заплакал. – Сына убили!

Понять что-либо из его плача было невозможно. Полицейские помялись, высмолили по самокрутке и, изрядно натоптав сапогами в избе, ушли. Везде: в степи, на реке, на всех дорогах и тропках – были выставлены заставы: Илиодора надо было поймать во что бы то ни стало – того требовал Петербург и более всего сам министр внутренних дел Маклаков.

Но Илиодор будто в воздухе растворился.

В печати появились первые рассказы о том, как исчез Илиодор. Газеты оказались информированными так же хорошо, как и полицейский сотрудник № 584. Может быть, даже больше – газеты дали точное время бегства Илиодора: «Илиодор бежал 3-го июля в 6-м часу вечера, прошел с версту от хутора, там его ждал воз с сеном» – так сообщил один из вестников, дали такие подробности, которые не знала полиция, явно им их сообщил какой-то наводчик-специалист, казачок с лихими усами и красным от выпивки носом – например, то, что крестьянин с повозкой ждал Илиодора четыре часа в условленном месте. Когда кто-нибудь проезжал мимо, крестьянин делал вид, что чинит телегу, от помощи отказывался, а когда Илиодор появился, то спрятал его в сене и увез в степь. Родным, дескать, Илиодор оставил письмо, в котором сообщил, что в хутор больше не вернется, просил простить его за тайное исчезновение, но обстоятельства сложились так, что оставаться ему на Дону нельзя.

Прошел слух о том, что перед побегом Илиодор очень боялся расправы – и, видимо, не без оснований. На хуторе могли появиться поклонники Распутина и вздернуть на веревке к потолку – прямо в его же избе. Илиодор настолько боялся этого, что даже дверь своей спальни запирает на два замка. Не говоря уже о входе и сенцах.

Сбрив усы и бороду, Илиодор, по свидетельству газет, переделался в женское платье и в накидке, с головой, обернутой белым шарфом, появился на ближайшей пристани. Поскольку кругом было полно полиции, Илиодор был вынужден вместе со спутниками прятаться в зарослях, а когда кто-то приближался по малому делу, стыдливо отворачивался и кушал куриные яйца – обманывал, давал показать, что обедает вместе со своим спутником и лишние рты на семейном обеде не нужны.

Со стороны все это выглядело естественно – скромная, стеснительная семья проводит отдых, отмежевываясь от остальных, никому не мешает и просит, в свою очередь, ей тоже не мешать.

Когда подошел пароход – газеты сообщили, что это была «Венера», – Илиодор занял место в общем дамском отделении. Чтобы не быть опознанным, сделал вид, что у него болят зубы, лег на койку и отвернулся к стене, на вопросы отвечал молчанием, тыкал пальцем себе в щеку, показывая: зубы! Болят зубы!

Труднее всего было с туалетом – и эту подробность газеты не обошли стороной: Илиодор не мог появиться ни в мужском, ни в женском отделении, он крепился, сжав зубы.

Когда пассажирский помощник капитана, ведавший на судне аптечкой и обученный фельдшерским навыкам, попытался помочь, унять зубную боль, дама – то есть Илиодор – «недовольно пропищала:

– Ах, отстаньте!»

Помощник капитана через некоторое время пришел снова – ему было жаль страдающую даму.

– Все-таки я попытаюсь вам помочь...

– Нет, – решительно ответил Илиодор.

– Я дам вам йодистой настойки и капель. Это поможет.

– Не надо!

По утверждению газеты, помощник капитана и в третий раз подошел к Илиодору, но Илиодор и в третий раз отказался от помощи.

Некоторые газеты, рассказывая об этом факте, писали, что Илиодору пытался помочь не пассажирский помощник капитана, а пароходный контролер, который параллельно исполнял обязанности фельдшера. Дама, перевязанная платком и лежавшая на полке, извините, задом к нему, показалась подозрительной. И точно, подозрения контролера подтвердились: пароход-то был переполнен, у дамы на руках оказался билет третьего класса, а плыла она во втором. Контролер попытался выселить даму, но за нее вступились соседки-пассажирки, и придирчивый контролер в конце концов вынужден был отступить.

Утром Илиодор прибыл в Ростов, в котором провел целый день, потом поехал дальше. Вот только куда?

Газеты дали два расплывчатых адреса, по которым Илиодора найти было невозможно: Одесса и Кавказ.

Полиция расставила ловушки везде, где только могла – в Одессе и в Баку, в Батуми и Владикавказе, в Тифлисе и Екатеринодаре, даже в Крыму, в Ялте, и там на всякий случай соорудила капкан. Но Илиодор ни в одну из ловушек не попался. Он вообще как в воду канул, словно бы его никогда и не было.

Чиновник для особых поручений при министре внутренних дел статский советник Крайняков представил Маклакову вырезки из французских газет, которые министр передал по принадлежности в Департамент полиции, а в этом ведомстве другой аккуратный чиновник подшил в дело.

«Распутин, по-видимому, умер. Любопытна личность бандита. Умер человек, имевший необыкновенное влияние в России», – в один голос заявило несколько французских газет.

А Распутин был жив, он жил, болтаясь между небом и землей, крепкое, жилистое тело его не хотело сдаваться, гной сочился из раны не переставая, тек, будто вода из крана. Распутин мучился, стонал, хватал черным ртом воздух, находился почти все время без сознания, но когда врачи заговорили еще об одной операции, на этот раз более серьезной, он, словно бы что-то чувствуя, открыл мутные, воспаленные глаза и облизнул языком сухие губы.

– А вы меня не зарежете?

Голос его был таким, что у врачей по коже невольно пробежали мурашки, даже у опытного тобольского профессора, отмеченного высоким орденом, кадык покрылся гусиной сыпью. Они тревожно переглянулись и на вопрос не ответили – непонятно было, в сознании находится Распутин или нет. Тогда Распутин повторил вопрос – он был в сознании.

У постели теперь круглосуточно дежурила Ангелина Лапшинская – ей Распутин доверял, – которую журналисты, осевшие в Покровском, почему-то упорно величали Аполлинарией.

Были получены сочувственные послания от министра внутренних дел Н.А. Маклакова, министра иностранных дел С.Д. Сазонова и других высоких лиц. Знаменитый борец Иван Заикин прислал телеграмму: «Молю Бога об укреплении Вашего душевного и физического здоровья».

К телеграммам Распутин отнесся равнодушно – они никак не облегчили его боль, да и не до них было.

Распоряжение губернатора о том, чтобы «старца» перевезли в Тюмень, не было выполнено, пароход «Ласточка», зафрахтованный для этой цели, простаивал – Распутина в таком состоянии везти было нельзя. Но и оставлять его в Покровском тоже было нельзя: дом – это не больница, дома даже дети мешают.

– Век бы вас не видел! – в жару, с закрытыми глазами, едва дыша, цыкал на детей «старец». – И тебя, жена!

Феонию Гусеву, в отличие от Распутина, благополучно перевезли в Тюмень, поместили в отдельную камеру. «Даже тюрьма для тебя – персональная», – подчеркнул следователь. Феония вновь замкнулась в себе, перестала говорить, к еде не притрагивалась, сутками лежала на койке и, не мигая, смотрела в потолок.

Следователь засомневался: в своем ли уме Феония? Вызвал врачей для освидетельствования. Врачи нашли у Феонии совсем не то, что ожидал следователь, – чахотку. С головой у нее все было в порядке – допекли обычная подавленность, безразличие, нежелание жить. Легкие у Феонии догнивали, и суди ее, не суди, дорога у Феонии была одна – в деревянный ящик.

Было от чего озадачиться молодому следователю, он даже похудел от неожиданного известия.

Газеты – не только петербургские и московские, а всей России – начали наперебой печатать афоризмы, цитаты, высказывания, ругань Распутина: Распутин сделался куда более популярным, чем до покушения.

Речь у него была, конечно, особая, ни на что не похожая, корявая, очень заковыристая и убедительная – он иногда умел найти и вернуть такое словцо, которое не мог отыскать даже заядлый книголюб; при всей своей корявости речь Распутина была красочной.

Петербургские поклонницы, плача, переписывали в свои альбомы афоризмы Распутина – они верили газетам, думали, что кумир их умер, но кумир еще держался, хрипло дышал и цеплялся за жизнь.

«Великое дело – быть при последнем часе больного: увидишь смерть болящего и невольно помянешь мирскую суету и получишь две награды; посетишь больного, и в это время земное покажется обманом, просто сеть беса».

Вроде бы и бессмыслица, но смысл в этой рубленой топором, сплошь в занозах фразе есть. Вообще-то, Распутин это вроде бы о самом себе сказал.

«И явится страх, и видишь – друзья остаются, скажешь себе: где и куда все земное? И помянем даже молодость и юность, потому что смерть не спрашивает ни старости, ни молодости, ни мужества, и ни быстроты ног, и ни знатности иереев и епископов, и знатницы нипочем, и откуп не имеет цены».

А вот еще одно высказывание, очень любимое юными гимназистками, с надеждой смотрящими в будущее: «Потешные, как ангелы между херувимами, – смотришь вот и видишь в юношах, как они показывают в себе будущую защиту всех нас. Только бы в них сохранить веру. Эти потешные, что стена каменная, где мы за ней спрячемся».

Когда потешные идут, то на них с умилением смотришь, и без слез нельзя. Великое торжество от них получается».

Барышень приводил в восторг не только образный строй распутинских афоризмов, а и слог, стиль – сами они никогда бы не смогли так высказаться и тем более так написать.

Из Петербурга в Покровское прибыл знаменитый доктор Гагенторн – сердитый человек, известный, как и Распутин, – покровцам сказали так – самому царю и царице: бывало, он шикал на них, а к премьеру Горемыкину вообще открывал дверь ногою и кричал на него. Опытный врач, ничего, кроме медицины, не признающий, Гагенторн, прежде чем осмотреть Распутина, вытолкал под лопатки тобольского профессора сердитым криком:

– Пошел вон! Шаркун паркетный! Нечего тебе тут делать! Понавешал тут на себя! Вместо ордена лучше бы стетоскоп повесил!

Состояние Распутина он нашел не совсем уж безнадежным, но ниже удовлетворительного и велел готовить «старца» к отправке в Тюмень.

– Среди мух ему лучше не станет! – Гагенторн брезгливо поджал губы. – Развели тут мух!

На пристань Распутина надо было нести на руках – мягко, без рывков и раскачивания, в селе нашли солдатские носилки, привезенные еще с японской войны, подготовили их.

Через сутки Распутин почувствовал себя лучше, с глаз его сползла мутная красноватая пленка, и лицо перестало дышать жаром. Ему сообщили, что покушение действительно организовал Илиодор, он – главный закоперщик, а Феония – почти никто, седьмая спица в колеснице, обычная исполнительница. Главный закоперщик Илиодор утек невесть куда. «Старец» неожиданно приподнялся на подушке и хрипло, с клекотаньем рассмеялся:

– Значит, бежал Илиодорка? – Похоже, он не верил, что Илиодор, Божий человек, может сам докатиться до убийства. – М-да. Значит, суда испугался, арестуют, думал. Давно я его знаю, давно... Приятели когда-то были, да он зазнался сильно. Стал с нехорошими просьбами приставать, а тут еще от Бога, от паствы отказался... Да и сам от себя, пожалуй.

Настроение у Распутина поднялось.

Газета «День» без всяких комментариев опубликовала найденный где-то распутинский автограф, клочок бумаги, на котором крупными, корявыми, знакомыми многим буквами было выведено с ошибками: «Ежели прощать собаке Серьгу Труганова, то он, собака, всех съест».

Труфанова Распутин звал Тругановым.

– Кто это тут регочет? – прорычал Гагенторн, входя в комнату.

Распутин оробел:

– Я.

– А ну, на место! – как на собаку, прикрикнул Гагенторн, и Распутин покорно повалился на подушку. – Распущенность вселенская! – прорычал Гагенторн. – Что хочу, то и ворочу! Хочу – болею, хочу – встаю, хочу – водку вместо лекарств трескаю. Лежать надо, ле-жать!

Когда в дом втащили носилки и хотели на них уже было положить Распутина – пароход «Ласточка» продолжал готовно дымить новенькой черной трубой у берега, посапывал, постанывал водоотливкой, на землю с борта был сброшен широкий, специально сколоченный трап, – Митя вдруг насупился, на глазах его выступили слезы, а длинный, хрящеватый, как у отца, нос, испятнанный запоздалыми весенними конопушками, покраснел и украсился крупной каплей.

– Ты чего, Мить? – спросила у него мать.

– А вот! – Митя ткнул рукой в носилки.

– Чего «вот»?

– Не верю я в их!

– Почему?

– Старые они!

– Ну, это легко испытать, – сказала Прасковья Федоровна. – Счас! – И велела двум дюжим мужикам поднять носилки. Те исполнили приказание.

– Ложись! – велела Прасковья Федоровна сыну.

– К-куда? – не понял Митя.

– На носилки, дурак. Плюхайся на них смелее!

Она сделала рукой решительный атаманский жест, Митя стер с носа каплю, попробовал лечь в носилки, но это было все равно что с печки прыгнуть в брюки: прыгай не прыгай, а все равно ногами в брючины не попадешь, и Распутина велела мужикам опустить носилки на землю.

– Ложись!

Митя покорно лег на носилки, вытянул ноги и закрыл глаза. Длинный его нос сделался еще длиннее.

– Подымай! – скомандовала Прасковья Федоровна, и мужики потянули носилки за ручки вверх. Раздался треск, Митя охнул и провалился сквозь носилки на землю, закричал благим матом, потом выскочил из-под носилок и начал хватать обескровленным ртом воздух.

– Тятю опять хотели убить! Покуше-е-ние-е! Мужики недоуменно хлопали глазами, держа в руках обломки носилок. Вообще-то, такое падение могло закончиться для Распутина плачевно. Срочно были вызваны плотники, для которых соорудить новые носилки было делом плевым. На подворье Распутина застучали молотки. Через два часа новые носилки были готовы, но факт, что Митя рухнул со старых прогнивших носилок на землю, вызвал новую волну разговоров. Люди начали судачить о том, что даже если Распутин и выздоровеет, жить ему все равно придется недолго, его все равно достанут, может быть, достанут даже здесь, в Покровском, пока он валяется в постели, достанут на пристани, где будут служить молебен, – возьмут и жажнут с ближайшей сосны жаканом, а если не достанут в Покровском, то достанут в Тюмени.

На пристани собралась большая толпа: старые солдаты, увешанные крестами, нищенки, дамы в дорогой модной одежде, юродивые со слюнявыми ртами, золотушные малолетки и

представительные господа в котелках, гимназисты и унтеры, белошвейки из Тобольска, приехавшие сюда, как на экскурсию, и тайные агенты полиции. Полицейских в мундирах тоже было много – везде блестели пуговицы, золотые темляки и серебряные погоны, брякали ножны пашек, и слышался звон шпор – наиболее франтоватые чины полиции украшали свои сапоги звонкими шпорами. Цок-цок-цок – в такт шагам раздавался сладкий малиновый звон.

Стонущего Распутина принесли на берег, носилки поставили на специальный помост – проворные плотники успели сколотить и помост. Бледный, с темными пятнами на щеках – по всему лицу пошла порча, – Распутин со стоном приподнялся на подушке, прошептал несколько благодарных слов.

– Пророк ты наш! – заревели люди. Женщины заплакали. – Не уходи!

Распутин растроганно помотал головой. Жена поправила на нем солдатское одеяло – другое в больницу не годилось, одеяло все равно пойдет на выброс, и рослый красивый дьякон взмахнул кадиллом, обдав собравшихся душистым дымом, загудел так мощно, что толпа разом умолкла – голос дьякона размял, раздавил все другие голоса, вперед выступил седой представительный батюшка. Молебен начался.

Через час пароход «Ласточка» отошел от берега.

Из Санкт-Петербурга в Тобольск, начальнику жандармского управления поступила депеша, в которой в довольно резких выражениях указывалось на то, что начальник управления непростительно редко и с большими опозданиями докладывает о состоянии здоровья Распутина.

Полковник из Тобольска, оправдываясь, писал в секретном донесении, что считает своим долгом доложить следующее:

«...г. Тобольск отстоит по почтовому сухопутному тракту от села Покровского в 177 верстах и до г. Тюмени – 255 верст (водой еще дальше – 267 и 417 верст). Траст этот (сухопутный) в настоящее время почти закрыт ввиду небывалого в этом году разлития рек Западной Сибири и совершенной порчи вследствие этого дорог и мостов. Тракт этот был так затоплен водой, что только две станции можно было проехать на лошадях, остальные только на лодках.

Почта в настоящее время перевозится водой на пароходах Северо-Западного общества пароходства и торговли, но пароходы этого общества совершают рейсы чрезвычайно неправильно и неравномерно, так что почта получается не каждый день, а раз в два, три, а иногда в четыре дня».

Газеты сообщили, что Илиодору предъявлено обвинение по статье 102-й Уголовного уложения, но Илиодора по-прежнему не могут найти; по одним слухам, он два дня пробыл в Одессе, а потом уехал на Кавказ, по другим – ушел в Крым, по третьим – вообще бежал за границу и сейчас со вкусом поглощает в парижских ресторанах садовых улиток под названием «эскарго».

Гусева лежала в тюремной больнице. У нее – рвота, повышенная температура, она ничего не ела, по ночам не спала, лежала неподвижно и смотрела в одну точку.

Неожиданно возникла монахиня Ксения, в миру Гончарова. Ксения подала прошение саратовскому прокурору, стараясь облегчить участь Феонии Гусевой, защитить ее, но защита эта была слабой, шеф саратовской губернской прокуратуры даже не принял его.

Распутин, очнувшись, тоже обратился к властям с просьбой освободить Феонию – понимал, что вреда она ему больше не причинит, а, освобожденная, может из противников обратиться в сторонники, и тогда он здорово умоет этого петуха Илиодорку. Распутинское ходатайство также было оставлено без внимания, вот ведь как – даже распутинское ходатайство! Видать, какие-то очень высокие лица затеяли свою игру – какие именно лица, никто не мог вычислить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.